

# В. КОРЧЕМНЫЙ

# ЧЕЛОВЪКЪ СЪ ГЕРАНІЕМЪ



книгоиздательство "Возрожденіе" — "LA RENAISSANCE" 2, rue de Sèze, Paris (9).

## ЧЕЛОВЪКЪ СЪ ГЕРАНІЕМЪ

(Повъсть)

1.

Къ концу дета 1918-го года, въ одномъ изъ Ирининскихъ переулковъ, въ Москвъ, появился престранный человъкъ, одътый въ военную шинель офицерскаго покроя, безъ пуговицъ и безъ погонъ, въ старую соломенную шляпу типа «Панама», съ большими дырявыми полями, и въ шведскія світло-желтыя перчатки, весьма тщательно и даже франтовато натянутыя на небольшія, изящныя руки. Въ правой рукв этоть человекь держаль толстую, белую налку изъ некрашенаго дерева. Съ неопредъленнымъ бойкимъ рвеніемъ, съ игривой энергіей, онъ размахиваль, вертыль, фектоваль этой палкой въ воздукъ, или лихо стукаль ею на ходу, по плитамъ тротуара, по тумбамъ. А въ лѣвой рукъ, старательно и торжественно прижатой къ бедру, онъ несъ гераній, — обыкновенный домашній гераній, въ глиняномъ горшочкъ, обернутомъ грязнъйшимъ доскутомъ газетной бумаги. Къ одной изъ петлицъ его шинели была привязана ветхая красная тряпица, скомканная и порыжавшая. Точно такая-же тряпица болгалась на верхушкъ засохщаго геранія.

На лице его, котя и очень бледномъ, обезкровленномъ, съ провалившимися щеками, весело блуждала и то-и-дело плутовато играла загадочно-настороженная улыбка; глаза горвли, но и смвядись доверчиво и съ лукавымъ вызовомъ. Казалось, онъ мысленно говорилъ, обращаясь къ кому-то невидимому: — «Посмотримъ, братъ, какъ это я тебя не настигну!» — Изъ подъ обвислыхъ полей шляпы, надътой на затылокъ, выбивались темные, густые волосы, слегка вьющіеся и съ сильной просъдью; что-то ребячески-удалое было въ кругломъ, красивомъ лбъ. А носъ его, короткій, ровный, съ широко раздутыми ноздрями, упоительно обнюхивалъ воздухъ, землю, а порою устремлялся и къ самому небу. И даже въ совершенно съдой бородкъ, небольшой, по очень густой, было какое-то затаенное, шаловливое и дерзкое веселіе, былъ вольный порывъ.

Ростомъ онъ былъ очень великъ — и на ходу заметно сутулилъ спину. Но ежеминутно онъ какъбы напоминаль себв, что униженно горбиться не следуеть. что жизнь хороша, — и тотчась же, точно сбросивъ съ себя бремя какихъ-то ненужныхъ, постылыхъ заботъ, освобожленно вздыхалъ. расправляль плечи, и вскидываль голову вверхъ, какъ-будто даже съ гордымъ презрѣніемъ къ кому-то или къ чему-то, и упорно покусывалъ свою сѣдую, крѣпкую бородку... Внезапно и стремительно онь пересъкаль переулокь, останавливался возлъ какого-нибудь дома, бъгло и дъловито оглядываль его со всвят сторонъ, и затъмъ ръшительно стучалъ своей дубинкой въ запертыя ворота или двери. Когда онъ раскрывались, онъ по-военному, коротко притрагивался правой рукой къ полямъ своей шляпы и глубоко надорваннымъ, но все-же пріятнымъ груднымъ голосомъ обрывисто спрашивалъ, напряженно сверкнувъ сърыми глазами:

— Нѣтъ ли у васъ свѣтлаго угла для одинокаго? **Я** — одинъ! Я — и моя герань!

И двери захлопывались передъ нимъ.

Онъ равноду, ино пожималъ плечами, нижняя губа его вздрагивала брезгливо. Въ свётлыхъ глазахъ все глубже, все остре разгоралось пламя новаго ликованія. Рука, сжимавшая бёлую палку, высоко приподымалась, онъ фехтовалъ размёренно...

— и вдругъ сокрушалъ невидимаго врага тяжелыми ударами.

А потомъ, опять — бодро, *браво* — шагалъ по гротуару, весело и ядовито озираясь по сторонамъ, опять съ внезапной рѣшимостью пересѣкалъ переулокъ и подходилъ къ другому дому. И снова властно стучался.

И однажды, передъ самымъ заходомъ солнца, онъ постучался къ Върунъ. Это было на четвертый или на пятый день послъ его перваго появленія въ Ирининскомъ переулкъ.

Она слыхала о немъ отъ сосъдей, видъла его изъ окна, когда онъ съ особымъ стараніемъ размахивалъ своей палкой, и подумала, что хорошо-бы приласкать несчастнаго. «Можеть быть, — промелькнуло тогда въ ея мысляхъ, — надо сейчасъ-же отдать ему бабушкины коралловыя сережки, сихъ поръ уцёлёвшія...» Въ эти дни, когда весенняя молодость Въруни, день за днемъ, мъсяцъ за мъсяцемъ, не только безропотно, невозмущенно, но и какъ-то легко, почти радостно протекала въ неослабной борьбъ съ голодомъ, холодомъ, съ грязью, съ тяжестью непосильных ношь (ибо она таскала на себъ пудовые мъшки) и со всей этой всегдащией **убылью.** роковой гибелью и разрушениемъ всего нужнаго, желаннаго, всего любимаго въ жизни, -въ эти жестокіе дни въ душ'в ея проснулась потребность въ милосердіи... На стукъ она открыла сама. И когда онъ, устремивъ на нее блуждающій, шалый огонь своихъ свётлыхъ глазъ, подозрительныхъ и хохочущихъ, произнесъ свое обычное:

— Нъть ли у васъ свътлаго угла для одинока-

го? Я — одинъ! Я... — она сказала, не давъ ему договорить, раскраснъвшись и торопливо:

— Войдите, пожалуйста! Да... Прошу васъ...

Онъ слегка помакалъ дубинкой и ответилъ, понижая голосъ, но коротко и строго:

— Пройдите впередъ!

Она провела его на кухню... Онъ шелъ за ней, постукивая по полу дубинкой и вполголоса напъвая, въ тактъ своимъ шагамъ, на военный ладъ:

«Трамсъ! Тарарамсъ-тамсъ-тамсъ! Тарарамсъ-тамсъ-тамсъ!»

Огромная старинная кухня была единственной комнатой, оставленной латышами (они занимали весь домъ) въ распоряжени Въруни, — кромъ той каморки, въ съняхъ, въ которой она спада. А отепъ и мать, оба больные, безпомощные, безвыходно жили въ верхнемъ этажъ дома, въ небольшой комнатъ безследно пропавшаго сына-студента, Николая... Николай пропаль посль митинга «для интеллигенціи», устроеннаго містнымъ районнымъ комитетомъ коммунистической партіи. Высокопоставленный ораторъ, прівхавшій изъ Кремля, тщедушный человъкъ съ жиденькой черной бородкой, въ пенснэ, энергично отчеканивая слова и могуче потрясая въ воздухв хилымъ кулакомъ, говорилъ: — «Когда мы сдвлаемъ наше пролетарское двло, когда мы виздримь въ продетаріать опредъленное классовое самосознаніе, когда мы окончательно заложимъ соціальныя первоосновы пролетарскаго государства, — тогда мы позволимъ всемъ вамъ, студентамъ, учителямъ, профессорамъ, адвокатамъ, болтать и писать, сколько вамъ влёзеть и глё и какъ хотите. А пока, мы говоримъ вамъ: — «Цыпъ!» — «Цыцъ!» — тотчасъ-же отозвалось въ залъ. — Кто сказаль? — строго спросиль ораторь, поправляя на носу пенсия. — Я сказалъ! — крикнулъ Николай.

поднимая руку. По залу забѣгали латыши, съ винтовками. При выходѣ его схватили... Онъ исчезъбезслѣдно... Вѣруня перебралась въ чуланчикъ, за кухней.

## Π.

«Трамсь! Тарарамсь-тамсь-тамсь!»

«Тарарамеъ-тамсъ-тамсъ!» — бормоталъ этотъчеловъкъ, остановившись посреди кухни, медленно снимая шляпу и перчатки, но не выпуская изъ рукъни дубинки, ни геранія. А Въруня говорила ему, какъ всегда, когда бывала смущена, — конфувливои растерянно прикасаясь руками къ вискамъ, къприческъ:

— Садитесь, пожалуйста! Прошу васъ...

Онъ отрицательно покачивалъ головой и выслъживалъ каждое движение Въруни не-моргающими глазами; а въ нихъ лихо метались искры: «Посмотримъ, какъ это вы теперь... посмотримъ!»

Она поставила на столъ кружку съ кипяткомъ, слегка окрашеннымъ щепоткой морковнаго чая, и двъ лепешки изъ картофельныхъ отрубей (хлъба небыло).

— Ну, согръйтесь!

А на дворѣ не было холодно. Но она не знала, какъ сказать, стыдясь изъ-за лепешекъ.

Онъ бережно опустиль на столь свой гераній, прихлопнуль рукой по горшку и сдёлаль ею такой жесть, какъ будто-бы хотёль сказать: «Воть тебё, дружище, и мёсто!» А затёмь, положивь дубинку на столь, обвель глазами комнату...

— Вотъ здѣсь! — сказала Вѣруня, кивкомъ головы указывая на небольшой образокъ Богоматери, висѣвшій въ углу. Онъ подошель къ углу, сдвинулъ каблуки по-военному, выпрямилъ плечи и — такъ-же, какъ шагалъ — брасо, отчетливо, точно рапортуя по формъ Высшему Начальству, произнесъ краткую молитву, начинающуюся словами: «Очи всъхъ на Тя, Господи, уповаютъ...» Послъ этого онъ перенесъ свой гераній въ уголъ, подъ образокъ. А потомъ, присъвъ къ столу, сталъ медленно отхлебывать изъ кружки... Въруня невольно потупляла глаза подъ его взглядомъ...

— Сколько лѣтъ ?

Она сказала.

— Звать какъ?

Она отвѣтила.

- -- Родные гдѣ?
- Она пояснила.
- Богу молишься?
- Да.
- А при царъ что дълала?
- Училась въ гимназіи.
- А конфетки любишь?
- Очень люблю.
- Ну, а какъ ихъ не стало?!
- —Я тогда подумала: «Господи, какъ-же это теперь безъ конфектъ-то будетъ?!» А потомъ привыкла.
  - -- Ивъты любишь?
  - Люблю.
  - Дай пить моей герани!

Она едва не сказала: — «Да въдь она засохла, умерла!» — но во-время раздумала.

Онъ слѣдилъ за ней взглядомъ ,въ которомъ медленно угасало безуміе, пока она поливала и поила мертвый цвѣтокъ. На глаза его набѣгали слезы. Она подошла къ нему, положила руку на его рукавъ и сказала:

— Не плачые! Вамъ бы лишь подкормиться... Но онъ отказался отъ второй кружки и съйлъ одну лепешку. Отстранивъ руку Вёруни, онъ снова подошелъ къ углу, подъ образокъ, и — такъ-же, какъ въ первый разъ — повышеннымъ голосомъ произнесъ другую краткую молитву, коей начало: «Благодаримъ Тя, Христе Боже нашъ...»

Потомъ, плечи его поникли, голова опустилась къ груди. Онъ молчалъ, но продолжалъ стоять лицомъ къ образку, спиной къ Върунъ. Она ждала, съ опаской поглядывая на него. Показалось ей, что плечи его стали вздрагивать и что изъ устъ его вырываются бормотанія и всклипыванія. Внезапно, онъ выпрямился во весь свой могучій рость, вскинуль голову вверхъ и закричалъ изступленнымъ, ужаснымъ крикомъ, отъ котораго Въруня затряслася, какъ листъ:

— Мати Христа Бога! Владычица! Заступница наша! Слышишь ли Ты меня? Милосердная Приснодъва! Благая! Взираешь-ли Ты на эту дъвчонку, пожалъвшую меня и мою герань?!...

И туть онъ сталь громко молиться своими словами.

Молился онъ долго, мвняя голосъ, а порою, даже, какъ будто разговаривая не только съ Богомъ, но и съ самимъ собой и съ разными знакомыми ему людьми, которыхъ онъ называлъ по именамъ. Онъ горько усмвхался и причиталъ, онъ всхлипывалъ и безпомощно надрывался, а то — вопилъ и грозно взывалъ, а то, иногда ( и тутъ голосъ его падалъ), онъ подымался до проникновенно-тихихъ призывовъ, до покорной мольбы и — еще выше — до молчаливаго вздоха.

Да, онъ странно молился! И, — можеть быть, — лучше бы Върунъ и не слыхать его! Однако, въ тоть вечеръ онъ заночеваль на кухнъ, и сталъ по-

томъ приходить почти ежедневно, и долгіе часы проводиль передъ образкомъ Богоматери, бесёдуя съ Богомъ, съ совёстью, своей и людской, и со всей вселенной, видимой и невидимой. Такъ, постепенно, и вошли въ душу Вёруни его недоумённыя, отравленныя и благоуханныя слова, произенныя бунтомъ и безудержнымъ чаяніемъ вёры.

И еще нъкто Никудимовъ, мало извъстный писатель, среднихъ лъть, — въ тъ дни часто навъщавшій Въруню, — сидя въ ея чуланчикъ подлъ съней,
а то и въ самой кухнъ, подолгу слушалъ эти молитвы и вопли... Долженъ-ли я за него признаться?
Онъ слушалъ — и подчасъ записывалъ на бумагъ. Не сомнъваюсь, что при этомъ онъ переживалъ
большую тревогу, — не совершаетъ-ли онъ преступленіе?! Не должно-ли писательское любопытство
разоружиться хотя-бы передъ величайшимъ человъческимъ горемъ?

Но если-бы Никудимовъ, задавшись такимъ вопросомъ, отвътилъ на него утвердительно, то ему нечего было-бы дълать въ этомъ міръ. Потому-то и потянуло его, въ 1918-мъ году, въ Москвъ, къ молитвамъ и воплямъ человъка, пришедшато изъ мрака улицы.

# Ш.

Онъ былъ безумный.

Звали его, въроятно — Дюковымъ, Андреемъ Трофимычемъ. Такъ онъ называлъ себя, говоря о самомъ себъ, въ своихъ молитвахъ. Родомъ онъ былъ (или жилъ тамъ долго) изъ какого-то большого приволжскаго города. Онъ называлъ многіе города, к нельзя было понять, гдъ для него мъсто неотразимъйшей боли и радости. Гдъ-то — тамъ... по большому раздолью... Тверь... Симбирскъ... Самара...

Астрахань! Тамъ у него была жена и двё дёвочви: одна — барышня въ возрасть, другая — маленькая, помоложе Въруни, любимая. Давно-ли это было?! Октябрьскія событія застали его въ чинъ полковника, на фронтв. А незадолго передъ этими событіями, онъ уволиль въ отпускъ своего деньщика — и земляка, къ тому-же — Никиту городского. Отпустиль онъ Никиту, но, отпуская, строго на-строго приказаль — привезти на фронть домашній гераній, посаженный его младшей дівочкой и о которомъ она писала отпу въ письмъ. Какая мысль?! Такъ оно, однако, было... Быть-можеть, ему захотелось тогда... зажечь этимъ цветкомъ серыя потемки революціоннаго фронта? Или хотя-бы освітить его милой лаской уголь халупы, вь которой онь жиль где-то среди Пинскихъ болотъ? Никита пропадалъ больше мъсяца и возвратился въ самую тогдашнюю заворожку, октябрьскую. Гераній, однако, онъ привезъ, и даже, войдя въ халупу вполнъ въжливо, выявляя полное чинопочитание и благодарность за отпускъ, вручилъ цветокъ въ собственныя руки полковника. Повдравиль полковникъ Никиту съ върной и молодецкой службой и умолчаль насчеть опозданія изъ отпуска. Такъ оно, тогда, было... Но въ тоть-же день, къ вечеру. Никита самовольно отмучился «съ ребятами» въ ближайшее мистечко. пропадаль двое сутокь, а на третьи - ваявился, пьяный отъ самогона. А у полковника, надъ койкой. висълъ фотографическій снимокъ съ молодой его жены и съ него самого, — снимокъ, сдъланный въ тв далекіе дни, когда онъ и жена совершали свое брачное путешествіе въ Италію. Снимокъ — премилый, взятый среди красоть природы, на берегу моря! Стоить она, красавица его, молодая, ненаглядная, въ пышномъ платъв и съ раскрытымъ зонтикомъ на плечь, и ръзвой ножкой къ волнамъ морскимъ прикасается; онъ же, самъ — во фланелевомъ костюмѣ и съ сигарой въ рукѣ. Вся же фотографія изображаеть счастливѣйшую минуту въ жизни полковника... Вваливается Никита въ халупу, присѣлъ на табуреточку, не спросясь, — закурилъ. А затѣмъ, взглянувши на эту фотографію, давно ему знакомую, заговорилъ такія слова:

— Давно я, *Андрей Трофимыч*г, собирался разспросить васъ, — какъ это вы подъ заграничными лазурями ходили? Тоже, небось, конверты съ бытіями въ нихъ денегъ изъ Россіи получали? А между прочимъ, трудовой народъ, безусловно, который пролетаріать, тімь самымь временемь скрипіль оть боли ужасной.... А я, къ слову должонъ вамъ сказать, избрань оть товарищей председателемь полкового комитета, который теперь действуеть своимъ судомъ, потому-что изъ себя выдёлилъ, по распоряженію совьта народныхъ комиссаровъ. И хотя я отъ васъ ни злобы лютой, ни, должонъ сказать, вопче большихъ неудовольствій не получаль, но барынька ваша къ моей личности зонтикомъ прикоснулась, это вамъ извъстно. Съ позволенья сказать. тоже и дівчонка ваша, младшая, отъ которой эта герань... — прошу васъ, примъчайте, Андрей Трофимычь, какъ дъйствуеть моя злоба, потому-что я справедливъ... — о ней скажу я, изъ-за моего отпуска, что ей отъ меня не сдобровать, ежели я до ней обратно доберусь. «Какъ ты смъешь!», да все еще «какъ ты смъешь!», и опять-же «не смъй!». Зачемъ это? Зачемъ моя боль была при старомъ режимъ и теперь еще продолжается задаромъ? Которыя слова меня раздражають, я могу до поры, до времени терпъть! Но зачъмъ я теперь задаромъ въ дираках побываль у объих ваших барышень, а пуще всёхъ, у младшей вашей дёвчонки? Прошу вась, все примъчайте, — потому-что вы должны явиться по первому зову...

Такъ говорилъ Никита.

И вскорѣ надъ полковникомъ учинили судъ. Онъ былъ приговоренъ къ разстрѣлу на мюсти, — такъ сказано было въ приговорѣ. Среди многихъ прочихъ обвиненій, говорилось также о томъ, что евоный денъщихъ, Никита, черезъ всю Расею на своихъ рукахъ таскалъ этотъ пенужный центокъ, для одного ради измывательства надъ трудовымъ народомъ... Однако, его не убили. Никита, трезвый, въ послѣднюю минуту повалился въ ноги своимъ товарищамъ и, крупно вздрагивая всѣмъ тѣломъ, какъ отъ холода, невнятно бормоталъ о томъ, что надо-бы помиловать. И полковникъ былъ помилованъ. Но предварительно его жестоко избили. Жестоко и безпощадно. Били по головѣ и подъ сердце. Онъ потерялъ сознаніе....

Когда онъ очнулся, Никита, снова пьяный, страшный, соваль ему въ руки гераній и кричаль:

— Послушай! Я тебя помиловаль! Воть же тебь, возьми! Слушай... возьми эту герань! Подавись ею, одначе съ ней не разлукайся! Слышишь ты меня, аль нъть... До гробовой доски таскать тебь ее не перетаскать по Россіи! И дъвчонкъ своей скажи, что я тебя помиловаль изъ-за этой герани...

И воть тогда-то, придя въ себя и разобравшись въ происшедшемъ, Андрей Трофимычъ почувствовалъ, что все проясивло въ его сознаніи... Эти послѣдніе дни, когда надъ арміей висѣла ядовитая желтая мгла, когда воля и совѣсть отчаянно метались изъ стороны въ сторону, какъ птицы среди испареній болотныхъ затоновъ, эти безнадежные дни, безъ объяснимаго начала и съ затаеннымъ страшнымъ концомъ, вдругъ озарились свѣтомъ непреступимыхъ алмазныхъ граней, гдѣ правда его; правда Андрея Трофимыча, блистательно царила надъ міромъ, надъ солнцемъ, надъ людьми! Онъ понялъ, что жизнь незыблемо проста, — что эта хитрая, на взглядъ, механика, на самомъ дѣлѣ, управляется чи-

чтожной злобой, столь-же ничтожной и слиной, какъ смутная вражда червей и слюнявыхъ гадовъ, барахтающихся въ мелкой болотной дырй. Но какъ надъ болотомъ — звёзда, такъ надъ звёздой, надъ міромъ, надъ людьми, несказанный алмазъ — чудотворная герань его дівочки, укрощающая звёроподобныхъ людей, положившая преділь ихъ безумію, дабы жилъ Андрей Трофимычъ для одной божественной любви, въ поискахъ вёчнаго Его милосердія.

Никита, потомъ, сказалъ ему:

— Воть, я надёну на тебя красный банть, на тебя и на твою герань! И никто отнынё не посметь къ тебе и пальцемъ прикоснуться. Не то, ты мнё живо телеграмку по военнымъ обстоятельствамъ! Примечай: теперь я тебе заступникъ!

И совсёмъ это не чудно, что тё самые люди, которые судили и били его, дали ему хлёба, селедокъ и сала, и что при разставаніи онъ со многими цёловался? А Никита, такъ тотъ просто отъ него оторваться не могъ. Уже и поёздъ поданъ... и пышитъ духомъ набившихся въ него людей! Сопитъ и стонетъ локомотивъ. А надъ его трубой огневыя искры рвутся въ ночной мракъ, рвутся далеко! Звенятъ вездё винтовки, чайники. Мигаютъ вдали огни желёзной дороги. И Богъ ее знаетъ, что ждетъ впереди... Садиться и ёхать! А Никита все не унимается. И все пёлуетъ и цёлуетъ!

— Поговоримъ ищо! Машинисть, безъ нашего разръшенія, ничего не можеть! Ты теперь ни въ чемъ не безпокойся! И отъ самогона отказываешься напрасно. Сколько захочешь, столько я тебъ дамъ. На вотъ, бери ее всю! А женъ твоей отъ меня кланяйся обязательно! И объимъ барышнямъ — тоже! Потому-что я справедливъ. А на Рождествъ я тамъ буду обязательно и хочу я тебя и всю твою семью видъть въ живыхъ-здоровыхъ. Ни въ чемъ тебъ

теперь нътъ никакого безпокойствія. Тажай, безъ сомнъванца!..

Ну да же! Совствъ не чудно было Андрею Трофимычу, на первыхъ порахъ, принимать дары въчнаго милосердія. Онъ затъмъ и очнулся тогда, съ расшибленной головой, съ ослъпленными, подъ опухшими въками, глазами, что, побывавъ въ безпамятствъ у Бога, разгадаль чудесную простоту всей этой жизненной механики, которая и бьеть, и ласкаеть, и пугаеть, и хранить, и — вдругь — низвергнеть въ кровавую пропасть, — а тамъ алмазное сіяніе ангельскихъ крыльевъ, подхватывающихъ налету. Разорвана въ влочья твоя последняя вера, человькъ, — но это только въ предълахъ видимой оболочки вселенной, осязаемой и учунной и слъпыми кротами! И потому-то онъ и принялъ съ восторгомъ. отъ Никиты, красные банты, для себя и для герани. и хльбъ, и поцълуи, что не могло все это быть иначе, по малому, скромному, върному разумънію человъка, побывавшаго у Бога. Такъ это оно, тогда, было... И Андрей Трофимычь увхаль съ фронта, обласканный.

# IV.

Что-же произошло потомъ? Возвратился-ли онъ въ свой приволжскій городъ? Повидалъ-ли жену, дътей? Поцъловалъ-ли свою дъвочку, приславшую ему герань? Нътъ. Въ этомъ помъщалъ ему обыкновенный человъческій врагъ. Какъ же все это было?!

Онъ помнить очень смутно... Онъ помнить только, что съ той самой минуты, когда онъ, кое-какъ усввенись въ теплушкв, закусывалъ хлвоомъ и саломъ, обливаясь слезами умиленія надъ внезапной добротой Никиты, и до того дня, когда онъ попаль въ Москву, и потомъ очутился безъ

онъ неустанно приближался жилища, само одидохдоп милосердію, въчному и оно къ нему все ближе и ближе, а туть постоянно путался обыкновенный человъческій врагь и не даваль произойти самому главному. Каковъ человъческій врагь, это онъ отлично знаеть! Пришлось даже поднять на него палку! Нужна дубинка такая, чтобы не выдала ни въ какомъ случав, ни-ни... А гдв такую достать за деньги! Такъ онъ самъ сръзалъ ее, подлѣ родного города, въ рощѣ, когда однажды пришлось заночевать тамъ, укрываясь отъ врага.

Обыкновенному челов'вческому врагу большой власти не дано. — ничего значительнаго онъ не можеть! Правда, иной разъ можеть приколотить, придушить, или даже убить человъка. Но въдь такое и съ чортомъ бываеть, если не знать настоящаго заклинанія! Ніть, сердце, не опасайся большого подрыва отъ врага человъковъ! Увидалъ ты его? Вамахнуль на него палкой? Исчезь онь? Ну, сердце, — а теперь звени бойчъе!... Главное занятие его заключается въ томъ, чтобы, забравшись во всѣ щели и норы жизни, проникая даже въ квартиры, втираясь въ довъріе добрыхъ людей, всячески пакостить, путать, мешать, вызывать всякіе нелады, ссоры, неустройства, вгонять въ горячку, одурманивать, — разлучать родныхъ, путниковъ сбивать съ дороги, отъ голодныхъ прятать хлебъ, въ перквахъ дуть на лампады. Бояться его не надо, потому-что душъ твоей онъ повредить не можеть; но непорядокъ отъ него можетъ произойти огромный!

Это оно устроиль такъ, что жена Андрея Трофимыча, чего-то испугавшись и не дождавшись мужа, бросилась въ такіе края Россіи, куда ему, Андрею Трофимычу, добраться невозможно, и увезла съ собой младшую девочку, — быть можеть, на погибель отъ голода и холода. Это оно, разлучивъ сестеръ, навелъ туманъ и опаску на сердце старшей

дочери, такъ что, даже, она отцу родному написала: «Папа, ты лучше и не показывайся!» И сама сначала все пряталась по деревнямъ, а потомъ и вовсе запропала, тоже неизвъстно куда. Это ожь, когда Андрей Трофимычъ колесилъ по Россіи туда и сюда, неузнаваемо заметаль следы и жены, и детей. Это оно перехватываеть письма. Ну, а когда Андрей Трофимычъ стояль «съ ручкой» у Курскаго вокзала, и была у него на груди дощечка съ надписью: «Подайте бывшему защитнику Родины!», съ перечисленіемъ многократныхъ пораненій и боевыхъ отличій, — развѣ это не оно, явившись въ видѣ бритаго чернаго комиссара, въ черномъ кожаномъ костюмъ. въ черныхъ очкахъ, пристально заглянулъ Андрею Трофимычу въ лицо и, вдругъ, кликнулъ стражниковъ и возмутиль народъ горделивыми криками: «Поворъ!.. Поворъ!..» Гдв быль поворъ, гдв?! Андрей Трофимычь такимъ вопросомъ не задавался и его ни о чемъ не разспросилъ, потому-что Андрею Грофимычу было извъстно, что обыкновенный человѣческій врагь обладаеть особой, замѣчательной силой, когда работаеть среди темныхъ, дикихъ людей. И Андрей Трофимычь снядь съ груди своей эту позорную доску.

Въ томъ-то и была бёда, что въ безпріютныя ночи, когда Андрей Трофимычь, продрогшій и голодный, покорно скитался по московскимъ бульварамъ, онъ сталь, однако, задаваться вопросомъ о томъ, кто къ нему ближе, — вёчное ли милосердіе, до котораго, думалось ему, только рукой подать, или этотъ нахальный обыкновенный человёческій врагъ, который всегда и вездё неотступенъ, смёется надъ его безвольными слезами и... можеть быть... въ какихъ-то другихъ мёстахъ, ему, Андрею Трофимычу, невёдомыхъ, исторгаетъ слезы изъ глазъ его младшей дёвочки, далекой, любимой, когда-то приславшей ему чудотворную герань! И какъ уйти отъ него? Куда и

какъ отъ *него* спасешься? И не *его* ли это смрадное дыханіе неустанно вьется вослёдь за Андреемъ Трофимычемъ, отъ самыхъ Пинскихъ болотъ и по всей Россіи, и вотъ проникаетъ и въ сердце ея, благословенную Москву, и здёсь томитъ, мутитъ и обжигаетъ душу послёднимъ, неукротимымъ огнемъ!

## V.

Приближалась осень.

Днемъ онъ стоялъ «съ ручкой» у Курскаго вокзала. А поздно къ вечеру, иногда послѣ захода солнца, отправлялся въ Ирининскій переулокъ, къ Върунъ на кухню. Къ этому часу она зажигала небольшой свътильникъ, смастеренный братомъ Николаемъ собственноручно, незадолго до его ареста и исчезновенія.

На окраинахъ все погружалось въ неподвижность запуствнія, затанвшагося страха и голода. Но оть центра къ окраинамъ, по пути Андрея Трофимыча, еще носились грязные, взовшенные автомобили; въ нихъ засъдали загадочные люди, съ презрительнымъ торжествомъ курившіе папиросы. Еще ревѣли и громыхали гордастые грузовики, рвущіеся къ большому простору разрешенной стрельбы, разгула и крови. И Андрей Трофимычъ размышляль о томъ, что по-людски, конечно, следовало-бы обзавестись собственнымъ угломъ и не быть въ обузу добрымъ людямъ, но что у въчнаго милосердія свои, никъмъ не заказанные пути, — и кто знаеть, не на штыкахъ ли красноармейцевъ горитъ оно, въ золотые и пыльные часы заката, когда этотъ большой грузовикъ, взметнувшись за угломъ у Крас-Вороть, и точно поразмысливь и понявь что-то значительное (не самое ли главное, — думалъ Андрей Трофимычъ), вдругъ мчится дальше, по тому-же пути, по которому, скромно уповая, шествуетъ онъ, Андрей Трофимычъ... А тамъ его ждетъ герань подъ святымъ образкомъ и всегда ласковая дъвушка, хлопотливая возлъ свътильника своего въ въчномъ блаженствъ упокоеннато брата! Ибо Андрею Трофимычу давно открылось, что Николай умеръ...

Николай, вообще, быль большимъ мастеромъ на всякія изобрѣтенія, открытія и усовершенствованія. Въ прошломъ, будучи студентомъ юридическаго факультета, онъ учился не плохо. Но настоящую страсть онъ питалъ только къ нъкоторымъ, имъ самимъ придуманнымъ, опытамъ надъ духами, одеколономъ, мылами и помадами. Онъ и комнату свою, —ту, въ которой теперь жили отецъ и мать, — превратилъ въ «лабораторію». Тамъ у него были всякія реторты, колбы, мензурки и пипетки. Онъ смъщиваль, взбалтываль, переливаль изъ одной стклянки въ другую, добивался особой смъси, выгонялъ ссобый экстракть; онъ хотыть янчное мыло преврагить въ земляничное — и наоборотъ. О самомъ себъ онъ отзывался, какъ объ англичанинъ. Барышнямъ, подругамъ Въруни, онъ такъ и говорилъ: — «У меня англійскій характерь, англійскій складь ума. Лажс въ моей вившности, согласитесь, есть что-то англійское. Я — англичанинъ!» — Позже, при большевикахъ, въ знакъ неподдельного гордого презренія къ Россіи, онъ не на шутку задумаль стать великобританскимъ подданнымъ и предпринялъ первые шаги по выходу изъ подданства совътскаго. И тутъ были долгіе дни, когда твердое славянское имя Николая одиноко, безпомощно, трагически тонуло на столбцахъ казенныхъ «Известій», между вабаламученныхъ хлябей всякихъ иныхъ именъ, коихъ носители сбрасывали съ себя путы чиновничьей и красноармейской службы, въ большинствъ случаевъ

только для того, чтобы съ твиъ большей свободой вращаться и вершить свои собственническія дѣла, среди коммунистической закабаленности всѣхъ тѣхъ, кто не видѣли живой связи между владычествомъ большевиковъ и Россіей — и никакихъ заявленій не подавали... А Николай, вотъ, подалъ... Онъ котѣлъ въ Англію... — «Буду тамъ, говорилъ онъ, простымъ рабочимъ, но — че-ло-вѣ-комъ!» — Нужно-же ему было, послѣ такого, съ англійской твердостью принятаго рѣшенія, смѣшиваться съ толной россійскихъ интеллигентовъ и среди нихъ-то выявлять самолюбіе, духовную опрятность, личную отвагу! За это его арестовали латыши.

Въруня торопливо заканчивала свою вечернюю работу при трепыхавшемъ свътъ «коптильника», — такъ въ домъ называлась лампочка Николая.

То быль необыкновенно маленькій металлическій резервуаръ цилиндрической формы, съ кое-какъ подогнанной, по его діаметру, крышкой, слегка выпуклой, конусообразной. Желобчатое отверстіе, въ центръ этой крышки, пропускало вглубь резервуара фитиль, сдёланный изъ туго скрученной ваты или даже изъ волоконъ простой бичевки. Весь резервуаръ вмъщалъ не болъе трехъ-четырехъ наперстковъ жидкости, — но фитиль, насыщенный, зажженный, каплю-за-каплей выцёживаль керосинь изъ резервуара и горъль бойкимъ четырежцестнымъ огонькомъ: желтымъ, краснымъ и зеленовато-синимъ. Но какая странная, какая жуткая звуковая мощь была у этого жалкаго свътильника, зажженнаго среди мрака и печали кухни! Сначала, загораясь, онъ всныхиваль и сухо шипъль и потрескиваль. Потомъ, когда пламя усиливалось, онъ слабо пълъ, прерывисто гудъль, пискливо и нудно, напоминая этимими звуками зовущіе электрическіе сигналы телефонныхъ аппаратовъ на желъзнодорожныхъ станціяхъ, когда — ночью — онв перекликаются. Но разгораясь еще сильнее, онь оглашаль воздухь шумомъ, звономъ, еще болъе необычайнымъ, все тяжелевинить меднымъ свистомъ, все возраставшимъ жужжаніемъ. Слушалось — и не вірплось! Разнотонный храпъ латышей изъ сосёднихъ комнатъ (они спали во всв часы дня и ночи) только стущаль и пасыщаль молчаливой тревогой тишину, стоявшую въ домъ и за окнами. А ничтожный свътильникъ звенвль, гудвль, стональ, какъ телеграфный проводъ, колеблемый выюгой, и, наконецъ, еще сильнъе, какъ пропеллеръ ночного аэроплана, - когда онъ пронесется низко надъ землей, таинственно-незримый на звъздной пеленъ неба... И въ сердце Въруни входило смятеніе. Она невольно отрывалась отъ работы и, сощуривъ глаза, боязливо остановившимся взглядомъ косилась на бурлившій и клокотавшій негодный жалкій «коптильникь». «Что за чудище!» — недоумъвала она. И вспоминала брата. «Если онъ не разстрълянъ, — проносилось въ ея мысляхь, — то гдв онъ теперь: въ какой тюрьмв, въ какомъ конпентраціонномъ лагерѣ, въ какомъ краю Россіи?...»

Появлялся Андрей Трофимычъ.

Теперь онъ приходилъ съ чернаго хода, черезъ большой садъ, прилегавшій къ тыловой стѣнѣ деревяннаго дома-особняка, бывшей собственности Въруниной матери. Войдя, остановившись въ дверяхъ, онъ быстро скользилъ напряженно-галопирующимъ взглядомъ по лицамъ людей, паходившихся въ кухнѣ.

Кромѣ Никудимова, у Вѣруни иногда бывалъ Викентій Викентьевичъ Балунъ, ученый философъ, вѣрившій только въ трансцедентно-ирраціональный космосъ. Балунъ, — какъ и Никудимовъ, — не признавалъ совѣтской власти; и оба они поджидали ея паденія, подчасъ, послѣ-особо-тревожныхъ дней, ночуя по разнымъ квартирамъ, у знакомыхъ... Онъ

оыль, отчасти по рожденію, но болье всего по спеціальному философскому образованію, нъмцемъ, тонко влюбленнымъ въ духовную пряность Россіи. Русская жизнь умственно развлекала его чрезвычайно. Даже отрицая, даже негодуя, даже рыдая надъ чьмъ-нибудь, онъ оставался въ состояніи восторга. Впрочемъ, онъ недолгое время появлялся у Въруни. Къ поздней осени, когда солнце въ прощальныхъ судорогахъ замирало надъ землей, онъ зачастилъ въ комиссаріатъ товарища Луначарскаго, гдъ какъ разъ къ етому времени выдавались усиленные свъжіе обрывки трансцедентно-ирраціональнаго космоса, въ видъ сала, колбасъ и гусей...

—Имъю ли я право на отдыхъ? — спрашивала Въруня, устало присаживаясь къ столу, сгибаясь въ поясницъ и кладя руки вдоль обоихъ колънъ. Съ этими словами она не обращалась ни къ кому опредъленно, но взглядъ ея невольно останавливался на образкъ Богоматери, подлъ котораго, молодецки вытянувшись, стоялъ Андрей Трофимычъ.

Ей шель шестнадцатый годь. Въ прошломъ, болъе всего въ жизни, она любила катание на конькахъ, конфекты, пирожное и, вообще, всякія сладости. А теперь, каждый день, она работала въ районномъ бюро по регистраціи продовольственныхъ карточекъ, а вечеромъ, дома, чистила картошку, стрянала, стирала, мыла полы, посуду, подшивала, штопала, кормила отца и мать, ухаживала за ними. По воскресеніямъ, вставши передъ зарей, она вздила, а то и гъшкомъ ходила, за Марьину рощу или за Сокольники, затъмъ, чтобы самой нарыть и насебъ принести въ городъ картошку. Извозчиковъ нътъ! Трамваи — не ходятъ! А если иногда и попадется случайный вагонь, то какь пробраться въ него съ тяжелымъ мъшкомъ? Вотъ горе-то!... Бъдная, старая Мавра, привязанная къ семьъ, умерла оть тифа на дворъ городской больницы. Больницы теперь переполнены, больныхъ теперь оставляють на дворъ. Вотъ горе-то!... А Николай — пропалъ!... И весь домъ, — все, что осталось, — живетъ и держится ею, только ея трудомъ...

И все-таки ей всегда казалось, что она работаеть мало, что она недостаточно «оправдываеть» себя. (Это слово она подслушала у Мавры, въ дни всеобщаго революціоннаго оподлінія). И ей бывало боязно ложиться спать, когда, послі долгаго трудового дня, она чувствовала себя утомленной, — какъ она объясняла, — не до переутомленія. Тогда она садилась къ столу, сгибаясь въ поясниці, и вытягивала руки вдоль обоихъ колінь; голова ея, слегка и непроизвольно приподнятая, клонилась набокъ. Въ такой позі, все ея тіло, — изящное, хрупкое, породистое тіло дворянки, — застывало въ трогательной простонародной неуклюжести...

- Имъю ли я право на отдыхъ?
- Имъете, имъете, Въра Дмитріевна... абсолютное право имъете! поспъшно откликался Викентій Викентьевичь, смутно и какъ-то виновато улыбаясь, и съ болъзненной торопливостью мужчины, очень отъ природы. полнаго, но и весьма отощавшаго, передавалъ ей съ другого конца стола, съ тъмъ, очевидно, чтобы она сама не утруждалась, краюху чернаго хлъба, обернутую въ чистую влажную тряпицу. Она принимала хлъбъ изъ его рукъ, отръзала ломтикъ, передавала ему, и философъ закусывалъ, улыбаясь еще болъе смутно.

Андрей Трофимычь, обутый въ Маврины валенки, неслышно подходить къ столу и присаживается, крестясь. Затёмъ онъ вытаскиваеть изъ кармана шинели (которую онъ никогда не снималъ) корки чернаго хлёба и нёсколько двухъ и трехрублевыхъ керенскихъ бумажекъ, похожихъ на большія почтовыя марки. (А фунтъ хлёба стоитъ шестнадцать рублей). А потомъ, снова крестясь, приступаетъ къ

морковному чаю. За чаемъ онъ говоритъ мало. Все больше молчитъ и отдувается, двигая бровями вверхъ и внизъ, точно ему воздуху не хватаетъ. Но когда скажетъ что-нибудь, то почти всегда разумно, логично и даже проникновенно. И крайне рѣдко бывало, что на какой-нибудь его вопросъ приходилось либо совсѣмъ не отвѣтить, либо, не подымая глазъ, только сказать: «да», или «нѣтъ».

Въруня думаеть:

«Лишь бы Викентій Викентьевичь не началь «спорить» о философіи! А то она опять почувствуеть себя дурой, такой дурой! Будеть молчать, какъ убитая, какъ оплеванная! А если скажеть что-нибуль, то выйдеть еще хуже... Гностики, - это вродв маленькихъ черныхъ червячковъ для рыбной ловли. А эмпиризмъ — пожалуй, что-то вродъ утреннихъ распашоновъ, халатикъ, матинэ... словомъ, что-то съ бъльемъ. Напримъръ: утромъ я была въ эмпиризмѣ!... Хорошо, что Никудимовъ нигдѣ не нашелъ спирту; это ему не идеть, это отвратительно! Конечно, Ленинъ и Троцкій подлецы, — но разв'в нужно нарочно придумывать разныя некрасивыя слова! Если онъ себъ позволяеть это въ ел присутствіи, то, значить, онъ ее не укажаеть! И главное, совствиь неостроумно... и даже отвратительно! Неть, этого она ему никогда не простить... Никогда она не забудеть, какъ однажды, когда она собиралась спать и только-что помолилась Богу, онъ ворвался, какой-то странно-сіяющій, нетрезвый, и едва поздоровавшись, задерживая ея руку въ своихъ рукахъ, закричаль: — Въра Дмитріевна, если Зиновьеву воткнуть въ животь булавку, — ну, понимаете, простую булавку, — то будеть свисть громкій и вонь великая! — A, затымь — ха! ха! ха! ха! ха! ха!... Очень это умно... и отвратительно, и совствиь не нужно! Если бы онъ всегда быль такой тихій и печальный, какъ сегодня... и если бы онъ не презираль ее! Конечно, она сама отлично понимаеть, что Балунь — рёдкій умь, почти геній, и онь, Никудимонь, тоже замічательно талантливый. И все-таки, ей немного странно, и даже немного страшно, что оба они, такіе замічательно умные, и такь давно, все время, не признають совітской власти, а изъ этого ничего не выходить! И все остается по-старому... Можеть-быть, это оттого, что она-то — дура, она-то!... Можеть-быть, нужно почистить имъ сапо-ги, чтобы они не обижались?...»

А Никудимовъ — думая, старается не думать о Россіи:

«Къ чорту, къ чорту, къ чорту...» — такъ мыслить, такъ заклинаетъ онъ, Никудимовъ. «Не страна, а какая-то чепуха, дребедень... къ чорту!...»

Немного спирту онъ нашелъ и выпилъ; но въ такомъ ничтожномъ количествъ, что это только вызвало въ глазахъ его печаль, которую Въруня принимаетъ за благородную. А внугри его, глубоко внутри, подъ нъжностью къ Върунъ, подъ тоской о загубленной Россіи, мелкіе бъсенята справляютъ веселенькій шабашъ. И ему пріятно не думать о Россіи! И ему пріятно, уносясь воспоминаніями въ довоенное прошлое, въ сладкомъ надрывъ, думать о Франціи, о прекрасной Франціи, о недосягаемой Франціи:

«Тамъ все хорошо! Даже фееріи въ театрѣ «Шатлэ» хороши! Сколько красивыхъ женщинъ! Всѣ во всемъ чистомъ! Во всемъ изящномъ!... Къчорту, къчорту, къчорту...»

А Балунъ тяжко думаеть о голодь. Онъ — то бормочеть, то повышаеть голось:

— Это — ужъ ни на что не похоже... и это страшно! Подрывается въ человъкъ самое главное, самое таинственное, и то, чъмъ онъ возвышенъ надъ животнымъ. Подрывается способность мыслить, убивается мысль, божественная мысль, способная съ

легкостью оторваться отъ земли, далеко ввысь, и чудесно витать тамъ, въ сферахъ междупланетарныхъ и даже надпланетарныхъ. Человъкъ, достигшій того, что можеть по собственному усмотрѣнію, въ любой моментъ, распорядиться этой землей, какъ хочеть, хотя бы повернуть ее вверхъ тормашками, а самого себя поставить въ любую точку вселенной, или даже за. надо вселенной, и въ такомъ положеніи сохранять закономърную разумность всъхъ своихъ помысловъ, -- человъкъ, достигшій этого, искуственно притягивается къ ничтожнвишей части своего существованія, къ куску земного хліба, изъ-за котораго онь теряеть умь, теряеть вст чувства, слтпнеть, глохнеть, становится кротомъ земнымъ, хуже крота земного, становится паразитомъ, ползающимъ по земль, въ поискахъ дикаго, имъ невоздъланнаго пастбища! Вошь, сидящая на моемъ тълъ и сосущая меня, столь же значительна и разумна, какъ и я, выкрадывающій, чтобы не умереть съ голоду. хльбъ у моего сосьда, также, быть-можеть, голоднаго... И это происходить съ целымъ народомъ... въ великой странф! Вдумайтесь именно въ этотъ фактъ - съ цёлымъ народомъ, въ великой странв! Вдумайтесь именно въ это, иначе отъ васъ ускользнеть нить моихъ мыслей... Но теперь спросимъ себя, смекнемъ здравымъ умомъ, рѣшимъ! Какова-же обязанность, каковъ-же долгь личности -- въ такой моменть? Спасти свою мысль, спасти ее во что бы то ни стало! Понимаете-ли вы меня, Никудимовъ?

— Я васъ давно понимаю, дорогой Викентій Викентьевичъ, — но, право, я ръшительно не вижу способа, какъ это сдълать?

Балунъ рѣзко поворачивается къ собесѣднику всѣмъ корпусомъ. Пенснэ его упало. Вздрагивающими руками, выхвативъ изъ кармана загрязненный до черноты платокъ, онъ быстро протираетъ имъ и пенснэ и близорукіе водянисто-голубые глаза...

— Заразиться стихіей, — кричить онь, тщетно пытаясь, въ великомъ волненіи, приноровить пенсно обратно на носъ, — заразиться революціей! Признать ея космическій размахъ! Принять ее, войти въ нее, если надо — со своимъ собственнымъ багажомъ! Но спасти, но отстоять свою мысль, отстоять свое человъческое (а не скотское) участіе въ космическихъ судьбахъ человъчества, вселенной, всего, — чувствуете-ли вы, — всего?!

Въруня вздрагиваеть, съ трудомъ размыкая усталые глаза, и думаеть:

«Хорошо, что онъ не «споритъ» о философіи! А это, пожалуй, и я понимаю. Хотя есть непонятныя слова... Космосъ... барбосъ.... косматый.... кудлатый... кудлатая барбоска!...»

И она засыпаетъ.

А Никудимовъ, въ которомъ шабашъ, связанный съ мечтаніями о прекрасной Франціи, не затихаеть, — думаеть:

«Что есть скотское, — и что человъческое, о, Балунъ!..»

Тогда Андрей Трофимычь тяжело приподымается со стула, подходить кь окну и вонзаеть свои тревожные, все-поглощающіе глаза въ посліднюю полосу послів-закатнаго зарева. Значить... — тамъ, надъ оголеннымъ садомъ, гдів треплются и дымятся какія-то небесныя отрепья, еще горять костры, еще тянутся черныя дороги прифронтовыхъ далей, еще сверкають славныя бойницы! Чудо!... Чудо!... Время течеть обратно! Крізпчають руки Андрея Трофимыча, гордо и грозно прямится его спина, а глаза его, съ побіздной торжественной силой — тамъ, за кручьями косогоровь, за вражьими окопами — ищуть привычную злодійскую рать... Боже, и какое-же въ немъ ликованіе! Потому-что онь ощуща-

етъ Россію, какъ півсню, которая доносится издалека, звучить все ближе, все громче, все родніве и, вдругь — съ желізомъ въ рукахъ, съ крестомъ на груди, кивая ему головой, надъ нимъ стремительно проносится Візчное Милосердіе... Но почему-же сыплють весенними цвітами, пречистымъ цвітомъ, бізымъ ландышемъ и маргариткой Его глаза?

— Здравствуй, пурпурь! — такъ пролепеталъ въ тотъ вечеръ Андрей Трофимычъ, узнавая въ Немъ желанный, недосягаемый обликъ своей дъвочки.

#### VI.

И медленно подходить онъ къ углу, и становится подъ образокъ. Кухня колеблется и издрагиваеть въ трепыханіи свѣтильника.

Въруня собирается въ свой чуланчикъ. Валунъ, болъзненно морщась, шепчетъ о чемъ-то Въръ Дмитріевнъ, безнадежно машетъ рукой, прощается и уходитъ. А Никудимовъ забирается въ самый темный уголъ и укладывается кое-какъ на полу, укрывшись, съ головой, шинелью...

Никудимовъ не спитъ. Онъ слушаетъ рвущіеся, молотобойные удары своего сердца. Онъ знаетъ, что когда Андрей Трофимычъ громко заговоритъ, то въ дверяхъ, ведущихъ во внутреннія комнаты, появятся латыши, появятся нѣкоторые ихъ русскіе друзья, а съ ними какія-то женщины. И онъ знаетъ, что ему не заснуть, что безсонница, овладѣвшая имъ съ первыхъ дней революціи, будетъ немилосердна, что его сердце, продолжая рваться наружу, окаменѣетъ; не тяжкая-ли это лапа Россіи, вцѣпившись, душитъ его?... Изъ чуланчика пріятно потянуло струйкой свѣжести, валеріановымъ эфиромъ. Бѣдная Вѣруня! То-то Балунъ оглушилъ ее!

Хорошо, что у нея упълъли капли... отъ стараго режима! А то поди-ка, сыщи теперь капли... Кажется, въ какомъ-то романъ, нето у Тургенева, нето у Чехова, есть такое воздыханіе: «Какъ, однако, незаметно подкрались годы и болезнь!» Или что-то въ этомъ родъ. То-то и оно-то!... Сна, конечно, не будетъ, — но если въки нечаянно сомкнутся, то сердце, мгновенно рванувшись въ груди съ максимальной силой (такая у него привычка, у сердца), провалится затемь въ пропасть, въ пустоту, замретъ... дыханіе остановится, и въ эту секунду онъ, Никудимовь, смекнеть: это смерть! Но это будеть не смерть, а только краткій антракть, некое молніеносное и головокружительное путешествіе въ нирвану, мимолетное прикосновение къ небытию. потомъ... потомъ придуть латыши, нфкоторые русскіе и какія-то женщины. Впрочемъ, очень возможно, что онъ никогда не заснеть, что онъ состарится — быстро — и умреть — скоро — не засыпая! А все-таки, Богъ мой, если-бы... все-таки... заснуть, забыться! Да, если-бы, надувъ сердце, мгновенно закрыть глаза и просто, крыпко заснуть! Кто знаеть, какія великольпныя мысли могли бы зародиться въ этой головь, съ завтрашней зарей!...

Никудимовъ лежалъ подъ шинелью, обливаясь холоднымъ потомъ, и на глаза его навертывались слезы безсилія и злобы.

«Нельзя-же, — думаль онь, — только для того, чтобы оглушить себя и заснуть, ежедневно глотать этоть тошнотворный самогонь! Да и гдв доставать его? Торгують имъ только коммунисты — и по недоступнымь цвнамь! Да и вообще, онъ ненавидить алкоголь — и пьеть съ отвращеніемъ...»

Голова его тихонько кружилась. Онъ, какъ въ ознобъ, потягивался всъмъ тъломъ, и казалось ему, будто онъ тяжело влачится по топкому мъсиву ка-кихъ-то русскихъ улицъ (о, такихъ русскихъ!) и

вдыхаеть въ себя трупный запахъ... смертный тлънъ... испаренія грязи, человъческихъ тълъ, перегноя павшихъ животныхъ — и клубы валеріану...

Онъ освободилъ голову изъ-подъ шинели, приподнялся на локтяхъ. Потомъ, прижимаясь спиной и затылкомъ къ стънъ, присълъ на полу. Онъ оглядывается, соображаетъ:

«Андрей Трофимычь продолжаеть неподвижно и молчаливо стоять поль образкомъ... Быть-можеть, на сегодня этого не будеть? Не раздумаеть-ли онъ? Не присядеть-ли на Мавринъ сундукъ (уступленный ему самимъ Балуномъ, — а ужъ какъ морщился!), не скинеть-ли валенки и не завалится-ли честь-честью на боковую? Такъ бы оно и лучше, и спокойнъе... Но въдь Въра Дмитріевна, уходя, кивнула на Андрея Трофимыча и на свътильникъ и, строго сдвинувъ брови, шепнула: — Не гасите, онъ самъ догоритъ! — Можетъ-быть, и догоритъ, а звенить, плачеть, надрываетпока вотъ и сотрясаеть кухню огневымъ трепетомъ твнями!... И въ самомъ двлв, что съ Николаемъ? Глѣ онъ? Убили его?! И о чемъ онъ, какъ это говорится, думаль въ последнюю минуту?! Убили! Уничтожили!! Отняли жизнь!! Что это? Небо, вообще, похоже на огромный ламповый колпакъ, опровинутый на землю. Что оно? И что тамъ, за нимъ? Богъ? Ничто? И почему все это такъ сложно?! Вѣдь все великое — просто, и солнце свѣтить безъ всякихъ финтифлюшекъ! Гдъ же теперь Николай, если его убили, — гдъ онъ?! Есть ли дъйствительно такія м'єста, гді происходить милосердное преображение нашей жизни во что-то нужное, великое? Если нътъ, то почему, во имя чего, я недоволенъ этой зычной уличной глоткой, всегда полной стадныхъ криковъ: «долой!» и «да здравствуеть!»? Пусть ихъ кричатъ! Пусть грабятъ! Пусть убивають! Пусть убили Николая!!... А Андрей Трофимычь все стоить неподвижно и молчаливо... и я не могу подуть на этотъ светильникъ! Что въ голове у Андрея Трофимыча? Въ этой красивой, круглой головъ, напоминающей окраску зебры! Густыя, темныя, почти черныя пряди чередуются съ совершенно бълыми! Онъ, значитъ, постдълъ преждевременно! Есть ли ему пятьдесять? Поседель, вероятно, внезапно, сразу — тогда.... съ Никитой! А бородка у него какая-то не настоящая, а подклеенная... какъ у дътей въ домашнемъ спектакив. Въроятно, подбородокъ круглый, детскій. И во лоу есть что-то ребячье. Лушою чисть! Но въ глазахъ — свътлая бездна, и тамъ бродять какія-то ядовитыя орхидеи... отраженія Пинскихъ болоть, Никиты!.. А плечи какія! Худъ, какъ палка, а плечи все еще богатырски широки! Такая былая телесная мощь, и такая теперь согбенность духа! Въроятно... тогда... за эти плечи они его прежде всего и схватили... Застыль!... Молится онь? Нътъ... такъ, въроятно... плачеть — безъ словъ, молчаливо... Ну, хоть бы онъ заголосиль скорве! Тогда въ сердце вонзится особая, сладкая нечаль, въ груди взыграютъ младенческія струны, и всякія... любыя слезы — превратятся въ волшебную влагу умиротворенія... Нвтъ?! Молчить?! И почему это Въруня наказала насчеть светильника? Когда-то онъ догорить!...»

И Никудимовъ снова лезетъ подъ шинель...

«Однако, все-таки, насчеть этой смерти отъ безсонницы.... Никогда не засну, состарюсь — быстро — и умру — скоро — не засыпая! Можеть быть, такъ оно и лучше: быстро — скоро — не засыпая... нѣчто вродѣ рекламы по усовершенствованной отправкѣ на тотъ свѣтъ! Чѣмъ плохо? Нужно ли этого опасаться? Кому онъ нуженъ, одинокій, чуждый револющіи, и оторванный отъ литературныхъ плановъ, — съ такимъ долголѣтнимъ терпѣніемъ, съ такимъ великимъ и гордымъ терпѣніемъ, выношен-

ныхъ подъ сердцемъ! И все пошло на смарку, перекочевало къ чорту на рога.... Два - три года тому назадъ Андрей Трофимычъ быль гордымъ полковникомъ или подполковникомъ. Тогда я понять бы каждое его слово, каждую искру въ глазахъ, каждое движение руки! Только для этого и жиль, терпъль, глядъль... воздерживался отъ бумагомаранія! А теперь Андрей Трофимычъ — воть что! Какъ теперь писать о немъ?! Есть у Шопенгауэра такая мысль. — что объектомъ искусства можеть быть все велико-прекрасное и все грандіозно-ужасное, миловидно-прелестное и отвратительное **отр** он для искусства не годятся. А въ Россіи все теперь отвратительно... или безумно, какъ Андрей Трофимычь. Россія надула меня, воть оно что! Чортова страна, усвольвающая отъ искусства и похулигански хватающая за сердце! А по мордъ хошь?! Пусть въ тебъ возникла мысль... образъ... упованіе... в вра! Кричи о ней, вопи на всю Россію, — нието не услышить! Неть отзвука, неть отклика, умерло человъческое эхо! Ну, такъ рвись же. сердце, стучи во-всю, лопни!... Ну, а грандіозноужасное... Не Зиновьевъ ли съ Дыбенкой и съ товарищемъ Радэкомъ? Или, можеть быть, этотъ смердящій тупица — Ленинъ, «Ильичъ»? Значить, безъ капли воображенія, безъ единой собственной мысли?!.. Русская революція!!.. Космическій размахъ!!.. А не повъсть о томъ, какъ чуть-было не поссорились между собой Мартовъ съ Абрамовичемъ... и что, въ связи съ этимъ, произощло въ чортовой странъ, называемой Россіей? Принять революцію! Но въдь она то давно меня приняла, — и вотъ, уложила на этотъ кухонный полъ, съ больнымъ серпцемъ, безъ надежды на сонъ, на забвеніе, и по сосъдству съ латышами и Андреемъ Трофимычемъ...

«И на что онъ надъялся? Чего ждалъ?! Почему съ самаго начала, когда, быть-можеть. была еще

возможность, не бъжаль въ эту милую Францію, въ эту изящную, какъ волшебная феерія, Францію? Почему пъло всей своей жизни онъ откладываль на «посль-революціи», на «потомь»? «Потомь» и вообще-то въ жизни не уловишь, а въ Россіи, кажется, его и совсемь не бываеть. Audition de musique въ парижскихъ садахъ происходить въ теченіе ровно одного часа, — а на московскихъ бульварахъ музыка играето пять-шесть часовъ сряду. Тамъ, по часамъ, отъ четырехъ до пяти. А здѣсь никому не дано знать ни начала, ни конца! Двадцать музыкальныхъ номеровъ, объявленныхъ въ программъ, съ тремя антрактами, и на «бисъ» отказа не будеть! Лупи сколько влезеть, до полнаго изнеможенія музыкантовь и гуляющей публики... И почему они гуляють, — когда въ парижскихъ салахъ публика сидитъ (или стоитъ на мъстъ) и слушаеть? Да, чортова, чортова страна!.. Подижь ты, — гуляють! Ахъ, черти... И потомъ они еще придумали муки и состраданіе!... «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданіе къ нимъ!» А у Шекспира сказано буквально: «Она меня полюбила за отважныя авантюры, а я ее — за лътское удивленіе передъ ними!» Авантюры... грабежъ... насиліе... кровь... и трогательный дівчонкинъ восторгъ по сему поводу. А тугь — муки и состраданіе! Что общаго?... Чтобы купечество рыдало?!... Ахъ, черти... черти...

— Вотъ горе-то! — невольно вслухъ, со вздокомъ, вырвалось у Никудимова. При этомъ онъ, улыбаясь, подумалъ объ Андрев Трофимычв и о Върунв: по странному совпаденію, это было ея излюбленное восклицаніе еще до встрвчи съ Андреемъ Трофимычемъ. А больной полковникъ повторялъ эти слова всякій разъ, когда тяжелымъ вздокомъ котвлъ облегчить свою душу; это бывало съ нимъ часто....

- «Вотъ горе-то!» какъ человъческое эхо, донеслось до Никудимова. Онъ испуганно вздрогнулъ и сбросилъ съ себя шинель. Андрей Трофимычъ стоялъ, оборотившись къ нему лицомъ, и улыбался своимъ напряженно-сверкающимъ, шалымъ взглядомъ. По лицу его текли струйки пота. Онъ говорилъ:
- А завтра, друже, праздникъ! Великій праздникъ разоблаченія обыкновеннаго врага человъковъ! Стоитъ онъ теперь между Блаженнымъ Василіемъ и Святыми Воротами, самъ тощій, а брюхомъ поперекъ себя толще. И признается онъ святымъ угодникамъ, что въ пузѣ его великое зло для Россіи!

И снова обращаясь къ образку, Андрей Трофимычъ вскричалъ:

— «Слава святьй, и единосущней, и животворящей,и нераздъльнъй Троицъ, всегда, нынъ и присно, и во въки въковъ!».

А затьмъ, онъ сталъ молиться, то погружаясь въ молчаніе, то вслухъ высказываясь словами церковнаго богослуженія.

Никудимовъ не былъ силенъ въ молитвахъ, а въ церковныхъ службахъ онъ едва разбирался. Но казалось ему, что то были обрывки благоговѣйныхъ словъ изъ праздничнаго богослуженія, изъ всенощнаго бдѣнія. Казалось ему также, что Андрей Трофимычъ возглашалъ и за священника, и за клиръ...

Латыши, жившіе въ домѣ, были сыты, досужи и добры. Они состояли членами или охотниками (такъ, кажется, они назывались) какой-то вольной пожарной дружины. Дѣлать имъ было нечего. Днемъ-ли, ночью-ли, или круглыя сутки, они спали, ѣли, пили, играли въ шашки, бренчали на мандолинѣ, смѣялись, танцовали; къ нимъ приходили нѣкоторые русскіе друзья и женщины. Особаго зла они никому не причиняли. Правда, однажды, — это случи-

лось вскор' посл' ареста Николая, въ т' дни, когда отецъ и мать еще спускались внизъ, выходили на улицу, — они, латыши, какъ-то заперли больного отца въ домашній теплый ватеръ-клозеть. Они сдълали это въ отместку за то, что Въруня предложила имъ ходить по надобности въ маленькій домикъ деревенскаго облика, пріютившійся въ отдаленномъ углу сада. А въ тоть день («какъ на зло», разсказывая, говорила Въруня) ни ея, ни матери ея, не было дома въ течение четырехъ или пяти часовъ. И все это время больной отецъ просидълъ въ ватеръ-клозетъ. «Что-жъ дълать! Вотъ горе-то!»... А затъмъ, когда отца освободили, они, латыши, забили посками теплый ватерь-клозеть, а на одну изъ досокъ налѣпили бѣлую бумажку, на которой красивымъ гогическимъ почеркомъ, со множествомъ выкругасовъ, было написано: «Чтобы никто не ср... по-буржуазному!» Но кром'в этого нахальнаго обращенія и этой грубой записки, именно въ этомъ случать съ ватеръ-клозетомъ, никакого особаго зла отъ нихъ терпъть не приходилось. И вся эта исторія только осложнила, позже, заботы Въруни по присмотру и уходу за родителями.

Когда по вечерамъ, заслышавъ голосъ Андрея Трофимыча, они раскрывали двери, въ кухню врывались мутный свътъ, тяжелый храпъ спавшихъ на койкахъ и вдкій сплошной духъ, шедшій отъ перекисшихъ въ воздухъ клубовъ махорки, отъ нечистыхъ русскихъ портянокъ и отъ всей этой кучи человъческихъ тълъ, молодыхъ, здоровыхъ и разнузданныхъ. Онг. раскрывали двери, они появлялись для того, чтобы посмотрътъ и похихикатъ. Черезъ порогъ они не переходили. Но стояли въ дымпомъ, желтомъ облакъ чада и угара, прикасаясь къ трепыхавшимъ, какъ у раненой птицы, крыльямъ кухонныхъ сумерекъ.

И были съ ними женщины и нѣкоторые русскіе.

Женщины хихикали громче и глупъе всъхъ. Въ ихъ смъхъ было то, чего не было у мужчинъ: былъ вызовъ! Но Никудимовъ вглядывался въ лица русскихъ, и ему казалось, что они-то хихикаютъ — нехотя и какъ-бы конфузясь. Это ему такъ казалось... Но онъ не былъ въ этомъ увъренъ.

## VII.

Однако, Андрей Трофимычь, кажется, замолкъ окончательно! Не исчерпаль-ли онъ въ этомъ последнемъ паденіи ницъ, въ этомъ долгомъ-долгомъ земномъ поклонъ, свое высшее, предъльное упованіе? Нѣть! Вотъ онъ снова стоитъ подъ образкомъ, приглаживаетъ волосы, дрожитъ, и по всъмъ движеніямъ его плечъ и рукъ, — по этимъ несчастнымъ, трясущимся движеніямъ, о которыхъ нельзя говорить, о которыхъ лучше забыть, — видно, что онъ готовится къ чему-то особому, къ чему-то своему. И тогда начинается то, отъ чего отравленно и сладко сжимается горло Никудимова, и острый обжигающій колодъ бѣжитъ по его спинъ. Андрей Трофимычъ молится и взываеть своими словами:

— Происходить теперь, Святая, уплотненіе квартиръ. Въ комнату, въ мою-то, вселили четверыхъ пролетаріевъ несказанныхъ... Облика на нихъ человъческаго пъту, звъри они, — какъ же мнъ о нихъ Тебъ-то докладывать? Такъ для Тебя я ихъ несказанными зову, по совъсти... Меня, конечно, какъ бывшаго офицера, какъ буржуя, конечно, — выгнали въ петеднюю. Хозяйка-то моя, Аглая Осиповна, изъ нъмецкихъ дворянокъ, ничего имъ не сказала, потому-что убоялась. И мнъ не велъла. Ахт, говоритъ, Андрей Трофимычъ, ужъ вы молчите-молчите, ахъ, ужъ и молчите! Пришлось мнъ по-

ножиться въ самую переднюю, на полу, гдв галоши и валенки, подъ пролетарскими плащами; а они м жрые, да-а-а. Однако, я расположился не ропща. въ смиреніи настоящемъ и на Тебя уповая. Матушка, Заступница наша. И все бы пошло хорошо, Ц рица побесная, потому что скважины и отдушины всякія я, гакъ могь, законопатиль разными тряпицами, а къ ихнимъ плащамъ спиной оборотился По скромности моей всегдашней и охочей, хотя не похвальсь, но скажу передъ Тобою для правды, — и постоянно прибъгая къ милосердію Сына Твоего, Господа нашего, всегда довольствуюсь всякой малостью и радуюсь отъ души. Однако, вышло не такъ, да-а-а.... Была у меня, Святая, шуба... Шуба, — не такъ, чтобы совсемъ хорошая, многолетняя, но и не такъ, чтобы очень плохая. Ну, да и по теперешнимъ временамъ, и всякій въ этомъ признается, не приходится порядочному дворянину, хотя бы и офиц-рскаго званія, спісь-то свою черезчуръ высоко носить. Зимой, думаль я, еще побъгаю въ ней по морозцу, а пока, до большихъ холодовъ, какъ положили они меня въ переднюю, я ею, шубой-то моей, вибсто подстилки, обслуживался, подъ себя ее клаль, чтобы теплье было, и жестокости меньше... Отняли они ее у меня, шубу-то... отняли, пролетаріи несказанные! И съ такой это безперемонностью, что просто даже противно! Спрашивалъ я ихъ тогда, — за что отнимаете? А это, — объяснили они такъ, — товарищъ Радэкъ во всероссійскихъ известіяхъ написаль, чтобы у вась, буржуевъ либо военщины, шубы и всякую вещь отбирать, замвсто краснаго террора. Опять же, такъ они сказали, чтобы морды, — прости, Святая, для правды одной, - морды ваши-то въ кровь не бить, такъ ужъ лучше шубы отбирать, по организованному И взяди они шубу мою, изъ подъ меня ее выташили. Не на чемъ мив стало почивать въ смиреніи тоѓда, на полу-то, — а они, виделъ я, ею же подстилаются, самъ же я это видълъ, да-а-а... Не люблю я, Святая, этой публики.... эхъ. не люблю, вотъ какъ не люблю! По ночамъ мутится во мнъ... Думаль я тогда о томъ, чтобы ножикомъ... ножикомъ... остался у меня, охотничій... эхъ, не могу... ножикъто мой... животы... животы-то ихъ видеть не могу, пузо это вражье, отъ котораго вся бѣда. Не могу не взмолиться въ Тебъ, Милосердная, — эхъ, не могу... смилуйся, избавь... ножикъ-то мой, охотничій... Такъ Ты за меня съ ними расправься, за меня съ ними раздълайся по Своему! Да Ты только взгляни на нихъ, Царица Небесная, — а ужъ отъ очей-то Твоихъ, Матушка, Заступница наша... Эхъ, сдълай такъ, чтобы отъ нихъ ничего не осталось и чтобы этоть самый товарищь Радэкъ... И такая теперь печаль на сердив — у честныхъ людей! А имъ — хоть бы что! Ходять туть, оскорбляють людей... меня оскорбляють! А Сама, Святая, знаешь, какъ я вфрой и правдой-то... какъ въ опаснъйшихъ сраженіяхъ многократно кровь проливаль за Въру, Паря и Отечество, да-а-а...

— И не пришлось мий на сей разъ покориться, Святая, — хотя постоянно памятуя о милосердномъ Сынт Твоемъ, Господт нашемъ, но не пришлось, по одной причинт. То-есть спервоначала я, конечно, вознесъ молитвы и покорился, но не больше, какъ на часъ, либо другой, и не по моей винт, вотъ горе-то! Въ горячкт то этой самой, пока я съ ними насчеть шубы объяснялся, а потомъ, смирившись, въ переднюю прошелъ и въ размышлении пребывалъ, какъ мит теперь изъ щинели моей одной и подстилку, и покрывало приноровить, чтобы закутаться потеплте, и къ Тебт, за премудрыми Твоими совтами, на сей предметъ обращался, — забылъ я совствъ, сгоряча-то, объ одномъ событи. А тутъ меня такъ и сразило... Деньги... деньги-то... которыя

Ирина, старшая моя дочь, когда отъ разбойниковъ матросовъ пряталась, и хотя со мною встретиться убоялась, но все-же прислала, черезъ върнаго человъка, съ письмомъ и съ дочернимъ благословеніемъ, деньги-то эти въ шубъ-то я и держаль зашитыми. Вотъ горе-то!... По нуждъ моей немножко оттуда бралъ, и опять зашивалъ. И не такъ, чтобы очень много ихъ было, денегъ-то, потому-что съ той поры, какь я съ дочерью моей, по элобъ людской, не встретился, почитай, скоро — вотъ и годъ прошель, да и по всей Россіи я на эти деньги скитался... Но, все-же, настоящія царскія деньги и, даже, нъкоторыя золотыя монеты были, которыя я особо оберегаль, на случай нахожденія семьи. А кром'в этихъ денегъ у меня тогда, почитай, и на два фунта хлъба не оставалось. Воть горе-то! Что-же дълатьто было?! Помирать до поры, до времени, безъ призыва Господа Милосерднаго, никому не охота. И не ради стяжательства суетного, а только свою защищая, пошель я опять къ нимъ, къ пролетаріямъ несказаннымъ. Вхожу къ нимъ и строготакъ, по-военному, потому-что решилъ действовать энергично говорю имъ: «Ребята, въ последній разъ говорю, -хотите шубу отдать?» Насчетъ-же шубы я заговориль, потому-что Сама Ты. Святая. знаешь, о деньгахъ имъ признаться, да еще о настоящихъ, царскихъ и золотыхъ, никакъ невозможно было. Хотите, говорю, отдать? А они, какъ сидъли, такъ и сидять, и только головой мотають и усмѣхаются. «Хорошо, говорю, — и все съ большей строгостью, потому-что иначе нельзя было, - хорошо, говорю, — кто здёсь старшій?» А они между собой переглянулись и опять усмъхаются. А одинъ изъ нихъ, который на постели лежалъ, подносить къ собственному носу свой-же кулакъ, повертълъ имъ передъ носомъ-то, а потомъ мив показываеть: «Старшой, говорить, — воть онь!» «Хорошо, говорю я имъ, ребята, смотрите-же, найдется на васъ управа!» Вышель я оть нихъ вонъ и тотчасъ-же прямымъ маршемъ по коридору, потому-что у меня заранъе свой планъ образовался, и я еще, къ нимъ илучи, объ этомъ зналъ. А надо Тебв сказать, Святая, что въ самомъ концъ этого коридора огромнаго жиль одинь комиссарь, котораго я уже давно запримътилъ. И хотя онъ въ черной кожаной курткъ и въ сапогахъ ходилъ, и заодно былъ, видать, съ пролетаріями несказанными, но въ пенснэ и при идеяхъ, - значить, интеллигентомъ могь почитаться, такъ я по его глазамъ и длинной прическъ о немъ понималъ. А если онъ дъйствительный интеллигенть, --такъ, Святая, они, здёсь, сами о себё въ книжкахъ пишутъ, и такая у нихъ о себъ кличка, — то, размышляль я, хотя бы онь и роскошнаго о себв быль пониманія, но все-же объясниться съ нимъ можно. Ла, такъ-это оно, тогда, было... Постучался я къ нему и вошель. Встретиль онь меня сначала очень дружественно, улыбается ласково сквозь пенсиэ и руку протянулъ, — и я принимаю ее съ восторгомъ и должнымъ смиреніемъ... да-а-а... такъ это оно. тогла, было... Улыбается онъ, и вижу я по его обыкновенному лицу и думаю такъ, что точно, не ошибся я, и много ихняго брата, интеллигентовъ, отъ одного только заблужденія все это, и оть книжекъ, а не оть злобы какой. И сей, напримъръ, есть скромнаго о себъ понкманія. И какъ сказаль онь мив дасково и обыкновеннымъ голосомъ: «въ чемъ дѣло и чемъ могу вамъ служить?», то я ему — все насчеть шубы, и какъ я ее пожальть, а потомъ, вознеся молитвы, забыль, и потомъ, — хотя признаюсь, Святая, колебался въ себъ, — и насчеть денегь не утанлъ. Вотъ, какъ я о деньгахъ-то сказалъ, онъ меня перебиль, что онъ долженъ знать, кто я такой. И я, будучи растроганъ его добротой, и потому-что и началь-то я съ правды, все ему и выложиль — и званіе свое, и чины, и всякія отличія. Туть онъ отъ меня лицо отворотиль, на столь свой смотрить, подумаль о своемь, а потомъ говорить: «Удивляюсь я... — да, такъ онъ сказалъ... — гляжу я на васъ и удивляюсь, что вы, какъ младенецъ неворожденный!» А я, потому-что учуяль его раздуміе и смущеніе, какъ онъ сказаль мив это, что глядить на меня и удивляется, ему-то по-своему сказаль: «А я, говорю, гляжу на вась и, въ свою очетоже удивляюсь, — какъ это вы, интеллигенть, заодно съ пролетаріями насказанными!» И остнило меня сдтлать изъ него моего друга! Даже про шубу сталь забывать. Встаю я и еще громче прежняго говорю: «И многіе изъ вамъ подобныхъ уже и опомнились!» А онъ покраснълъ весь — и кратко такъ: «Уйдите!» — говорить. А я ему опять: «Опомнетесь!» А онъ мнв свое: «уйдите, да уйдите!» А я ему свое: «Опомнитесь!» Что съ нимъ стало?! Врагъ человъческій къ его совъстливому раздумію приступился. Взяль онъ меня за плечи, повернулъ и — толкъ! — въ спину и къ дверямъ. А я къ нему силкомъ оборстился и кричу ему въ послъдній разъ: «Опомнитесь!», — а онъ меня кулакомъ въ лицо, — и я туть, Святая, своимъ кулакомъ, да по его лицу! Какъ могъ я отъ него это стеривть, когда онъ интеллигентъ разумный и милосердіемъ Всевыпняго оделенъ мозгами значительно больше другихъ?! Подрались мы... А туть изъ этого огромнаго коридора, на шумъ нашъ, сбъжались всякія люди. Комнать тамъ множество, и народу всякаго живеть видимо-невидимо — и военныхъ, и вольныхъ, а больше всего пролетаріевъ несказанныхъ. Аглая Осиповна дамскую парикмахерскую въ Столешниковомъ переулкъ держала, а квартира эта огромная была ей въ прежнія хорошія времена отпущена домохозяиномъ, тоже немцемъ и, говорятъ, родственникомъ ея, подъ пансіонное заведеніе для

жильцовъ И сбъжались они изъ разныхъ комнать. А у него, у комиссара этого, отъ носа кровь, да и я стою, растерзанный, и онъ имъ что-то кричить. И избили они мен: нещадно. И по головъ, и подъ ребра, и въ сердце два раза стукнули. И хотя я сознаніе-то не потеряль, но только сквозь кровь мою и слезы невольныя видълъ, какъ этотъ комиссаръ имъ рукою знакъ подалъ, чтобы не убивали, а можетъ-быть, и убили-бы на-смерть, Выволокли они меня на лъстницу, шинельку мою бросили и дверь захлопнули. Но я въ ту ночь въ Аглаћ Осиповић другимъ ходомъ забрался и гераль свою попросиль, которая у нея стояла. И послѣ этого еще три ночи у нея ночеваль, въ чуланъ она меня прятала. А на четвертыя сутки входить ко мив, въ чуланъ-то, Аглая Осиповна и держить въ рукахъ четыре сосиськи. Объясняется, — «уйдите, говорить, скорте, больше я васъ прятать не могу». А такъ какъ сама она нѣмецкаго рода и потому, — прости, Святая — разной свинины прилерживается, пуше хльба, то не было у ней, объясняеть она, хивба, а были четыре сосиськи для добраго дела. Помяни, Милосердная, въ молитвахъ Твоихъ угодиы ъ, въ въчныхъ моленіяхъ заступныхъ, печедъ Сыномъ Твоимъ, Госполомъ нашимъ, Аглаю добрую, хотя-бы и была она нъмецкаго рода!... И взяль я эти четыре сосиськи и поmers.

— Царица Небесная! И за что меня и эти избили? Гогда Никита это сдёлаль, и потомъ геранью меня осчастливиль, и открылись надо мной алмазныя небеса всей жизни, и я увидёль тогда въ блескъ небываломъ всю правду о невольной злобъ людской, и новое понятіе возымѣлъ о своемъ недавнемъ величіи, о преходящей славъ человѣковъ, то только и было во мнѣ, Господи, только и было во мнѣ одно торжество за благость Твою всегдашнюю, за

милосердіе Твое неотступное. Рвался же я къ Тебъ, Господи, по велицей милости Твоей, безпрестанно! Рвался и еще рвался, неутомимо приближаясь къ Тебъ, въ боляхъ тъла и въ постоянномъ недоумъніи души изъ-за отсутствія жены и дътей любимыхъ. Гдъ жена моя, Глафира, гдъ она, Господи?! Гдъ дочь, Ирина старшая и неразумная изъ-за бъсовскаго страха? Воззри-же на меня плачущаго за малую детку мою, любимую, добрую и достойную, похожую и ликомъ, и духомъ на ту, которая меня теперь пріютила. По чудному промыслу Твоему объ онъ Върой зовутся, и, однако, моя — далеко... далеко... Воззри-же на меня плачущаго, Господи, воззри-же, по велицей милости Твоей! Не она-ли, добрая и достойная, говорила Никить: «Не смъй, не смъй!» И не посмъль онъ тогда... помутилась его совъсть каменная въ страшную минуту, оберегла его чудотворная герань! И меня, Господи, оберегла — для новыхъ путей, подъ алмазными Твоими небесами, и во славу Тебъ, показавшему намъ свъть, и мнъ, и Никитъ, «Святый Боже, Святый кръпкій, Святый безсмертный, помилуй насъ!»

— Ну, а когда эти меня избили, — не изъ-за стараго непониманія, не изъ-за войны, не изъ-за моего начальственнаго тона и былого моего тщеславнаго величія, а только лишь оттого, что вошель въ нихъ обыкновенный врагъ человѣковъ, который надо мной власти не имѣетъ, и возстали они противъ меня какъ разъ въ такое время, когда я съ усердіемъ, достойнымъ Твоего, Святая, одобренія, хотѣлъ того комиссара заключить въ свои объятія, только въ помышленіи о его душѣ... — вотъ тутъ-то и помутился-было мой разумъ до лютой злобы, до полнаго забвенія милосердія Божьяго, коимъ я здѣсь, во славу Его, подвизаюся. Но не-надолго... нѣтъ, Святая, педолго это продолжалось. Сначала, правда, все о ножикѣ моемъ, охотничьемъ, думалъ...

и видьть я ихъ не могь, ихъ-то, продетаріевъ несказанныхъ. — нигдъ не могъ, и на улицъ не могъ... животы... животы ихъ видеть не могъ, пузо это санеокаянное, — прости, Святая, а въ немъто, въ пузъ, и торжествуеть обыкновенный врагь человъческій! Да такъ это оно тогда, было... съ ножикомъ моимъ и съ ними. Ну, а потомъ, Сама знаешь. Святая, вознесь я молитвы и раскаяніе, и съ твхъ поръ неустанно къ Тебъ прибъгаю все объ одномъ, да объ одномъ, потому-что это — мое ръщеніе смиренное и окончательное, безповоротное, и упованіе мое дерановенное. И сейчасъ-воть, Преславная Владычица, буду молить Тебя все о томъ-же. И дерваю я молить Тебя только о томъ, чтобы Ты за меня съ ними расправилась по-Своему, съ пролетаріями несказанными. — Своимъ прямымъ чудеснымъ вмѣшательствомъ. А то они всю землю своканнивею сидо одисти и столого и ими только одна безвинная кровь по ней потечеть. И не нужно для этого никакого Твоего списхожденія въ это логовище дьявола, какая есть теперь земля, потому-что самъ я отлично понимаю, что это теперь совершенно невозможно. А Ты только, какъ молиль я Тебя, и теперь молю, и буду въчно молить, подай мнъ Свой милосердный энакъ! Вымоли, Владычица, вымоли, Преславная, вымоли, Благодатная, молитвами Твоими угодными и неотступными, моленіями Твоими блаженными и непорочными, за насъ, грешныхъ, заступными, вымоли у Сына Твоего, Господа Нашего 1исуса Христа, чтобы Онъ, по молитвъ моей смиренной и дерзновенной, въ страданіяхъ моихъ небывалыхъ, ниспослалъ мнъ единый Свой милосердный знако! И какъ хочешь Ты, Святая, запечатдъть на мнъ этотъ знакъ, такъ пусть оно и будеть. Въ виде ли рубца кроваваго и глубокаго на самомъ моемъ сердцв, по которому дважды стукнули меня продетаріи несказанные, либо на лбв, либо на ру-

кв. — какъ кочешь, Святая! А если почитаешь Ты меня этого недостойннымъ, несмотря на мое огромное терпвніе, то хотя-бы въ видв вещи какой-нибудь небывалой и небесной, чтобы она и самое солнце затмила сіяніемъ своимъ необыкновеннымъ. Какъ Ты хочешь, — а я ради этого милосерднаго знака готовъ принять отъ Тебя и всякія муки... И не для себя прошу я, нътъ, не для себя, и не потому, чтобы я, аки Оома неверный... неть-же, Святая, нътъ! Върую я, върую! И потому-то и прошу, что върую — и уповаю, и знаю, что Ты не откажешь! Нъть-же, Святая, нъть, не для себя, — а для нихъ-то, для нихъ-то, для пролетаріевъ несказанныхъ, для большей моей передъ ними убъдительноости, воть оно что, для смущенія ихъ окончательнаго, воть оно какъ. Святая! И тогда, въ такомъ видъ, имъя при себъ Твой милосердный знакъ, на сердив, на лов, или на рукв, или съ какой-нибудь вещью небесной, пойду я къ пролетаріямъ несказаннымъ и скажу имъ, пряча энакъ, и для начала простепки: «Взяли вы шубу мою?» — «Взяли, скажуть, такой-сякой!» А я спрошу: «Теперь отвъчайте: куды вы девали жену и детей моихъ?» А они засмъются. А я спрошу: «А царь вашъ гдъ?» А они захохочуть пуще прежняго. А я еще: «Убили вы царя-то?» — «Убили», спажуть, и — «ха-ха-ха», а меня — «такой-сякой», «Хорошо, скажу я туть, а — это?!» И покажу я имъ, Господи, Твой небесный милосердный знакъ, по велицей милости Твоей на мив запечатленный! То-то они испугаются и затрепещуть! То-то, пролетаріи несказанные, то-то, рать здодейская!! А что съ ними потомъ будеть. это ужь Ты, Святая, распорядишься, а я отойду. И глядя, откуда-нибудь изъ сторонки, какъ они въ Твоей справедливой власти барахтаются, я, рабъ Твой, опять-же буду безъ злобы, безъ смеха неприличнаго, но въ одномъ только торжестве за благость

Твою настоящую и всесвътную, за милосердіе Твое всегдашнее, за насъ, грѣшныхъ, заступное передъ всѣми глазами! И это, Владычицца, такъ нужно, нужно безотлагательно! Прости, Святая, но обыкновенный человъческій врагъ въ пихъ-то отъ Тебя и прячется, а я его вижу, а Ты, можетъ-быть, отъ меня только о немъ и узнаешь вразумительно, и потому-то я и молю Тебя со столькимъ усердіемъ и въ такомъ смиренномъ дерзновеніи... Господи! Любовь Твоя, милосердіе Твое есть вѣчно! Это я знаю, и вѣрую, и уповаю. А имъ дано отъ роду жизнь прожить, и когда-же та минута настанеть, что одолѣетъ ихъ сатанинскую гордость Твое милосердіе?!...

## V.

Никудимовъ думаетъ:

«Все великое — просто, и солнце свътить безъ всякихъ финтифлюшекъ! А безуміе, если върить докторамъ, что безуміе есть, — очевидно, потому только и безуміе, что стремится все слишкомъ сложное, непонятное, умомъ непостижимое, залить поистинъ чудоподобнымъ свътомъ простоты, ясности и примънимости къ жизни. Только надъ этимъ деломъ и бился тшетно всю жизнь — напримеръ. Толстой, Левъ Николаевичъ. Но почему, — какъ сказала-бы Въруня, если бы она могла надъ этимъ размышлять, — почему изъ этого, то-есть изъ Тол-стого или изъ Андрея Трофимыча, почему изъ этого ничего не выходить? И почему въ жизни — все остается по-старому? Въ этомъ, въроятно, послъдняя тайна! Дано-ли будеть проникнуть въ нее хотя бы тому, кто въ безымянное русское лихольтие, когда не могло не казаться, что Богь навсегда покинуль людей и землю, неустанно уповаль на Него, стоя «съ ручкой», у Курскаго вокзала?».

Андрей Трофимычъ помолчаль, въ раздуміи глубокомъ и продолжительномъ... Но вотъ онъ опять заговорилъ... Молится-ли онъ? Вёдь вотъ онъ присёль на краешекъ сундука, и теперь глаза его бродятъ по всей кухнѣ, какъ бы въ поискахъ друга-человѣка. И все-же, — взываетъ къ Святой! Онъ знаетъ, что Опа всегда слушаетъ его. И снова, подчасъ, устремляетъ глаза на образокъ... Встаетъ... Опять садится, обезсиленный... И еще, и еще встаетъ, прямитъ спину, воспламеняется. Онъ говоритъ:

— И еще неоднократно буду молить Тебя о томъже, Святая! Смиренно будеть дерзновение мое, но буду настойчивъ. Потому-что съ тъхъ поръ удостоился я еще и многія другія муки принять... Какъ я тогла, взявши эти четыре сосиськи, пошель невъдомо въ какомъ направлении, и самъ не зная, зачемъ, - какъ я потомъ и днемъ, и ночью скитался подъ небомъ, и дождикъ меня мочилъ, и холодъ меня трепалъ, и вътромъ меня валяло, какъ я ночевалъ на бульварныхъ скамейкахъ, либо на набережной, мостами, какъ V меня хлъба насущнаго, а ужъ сосиськи-то эти я въ первый-же день и повль, — все это Ты Сама, Святая, знаешь, ибо на все Ты Сама взирала Своими милосердными очами, въ неустанныхъ заботахъ Твоихъ обо мив, недостойномъ, охраняя мою жизнь и всячески способствуя мнъ съ должнымъ смиреніемъ вынести это испытаніе. А если чего, въ милосердіи Твоемъ, Тебъ и неугодно было запримътить, если, по милости Твоей и понимая мою слабость, и закрывала иногла Свои небесныя очи на многія мой прегръщенія, на злобу мою лютую и безсильную, на гитвъ мой неудержный, на слова мои нехорошія и бранныя, иногда и близкія къ грозному проклятію, и на то, какъ я людей поносилъ и надувалъ безбожно, и на всякіе поступки съ чужимъ клібомъ, и когда я не свои сапоги продалъ, и еще на многое другое, непризнаваемое и для Тебя обидное, — то воть, теперь, во всемъ я открываюсь передъ Тобой. Владычица Небесная, и чтобы не перечислять гръхи-то мои поочередно, скажу разомъ, что въ голодъ и холодъ такомъ постоянномъ, въ униженіяхъ небывалыхъ и неперестанныхъ, всв-всв гръхи, которые намъ отъ Господа запрещены, я на душу свою принимаю, — развъ только воть никого не убиль и старался не обижать завъдомыхъ мнъ вдовицъ. либо сиротъ, либо беззащитныхъ женщинъ. Ну, да все равно, Святая! Пусть, ради наказанія моего заслуженнаго, пусть, ежели какого гръха у меня и не было, то пусть будеть такъ, какъ будто оно и было, на тоть случай, ежели я что забыль, либо если такъ Тебъ отъ Себя угодно будеть, для большаго моего наказанія!

— Благодареніе Господу, Святая! Есть у меня въ груди настоящее великое стучание, и тяга нъкая немалая, и какъ бы одолъние непосильное и неземное, и это есть мое непомфрное благодарение Милосердному Богу! И не меньшее непомврное и Тебъ, Матерь, неустранимой Заступницъ нашей, по молитвамъ Твоимъ неотступнымъ и неусыпнымъ за раба Вожія, Андрея бродящаго! Воть же, добротой Твоей ангельской и блаженной, была у меня перемъна жизни, и снова водворенъ я въдолжное величіе челов'єковъ. Есть у меня теперь теплота жилища, и и вкоторая сытость, и сознание себя. Что не глаза мои слезящіе оть побоевь и голода, которыхъ нътъ, а истинно очи мои — не зря, а съ восторгомъ вникають въ бълый свъть отъ неба, который я вижу, то есть благодарение мое, — ей, Господи Царю и Утешителю! Что истинно очи мои разборчиво видять бѣлый свѣть оть солнца, и по всей земли отъ славы Твоея, и въ спокойстви настоя-

щемъ не наглядятся на собственное мое величіе человъковъ, то есть благодарение мое, — ей, Господи Царю и Утешителю, пріими! А ужь какъ я, въ молчаніи постоянномъ отъ преврінія настоящаго въ самому себъ, люблю и просто обожаю Въру-дъвушку, пріютившую меня, въ младенческой чистотв своихъ помысловъ юныхъ, и какъ я согрътъ бываю этой любовію, когда она возсядеть на стулв насупротивъ меня и глазами своими иной разъ на меня посмотрить, и трясутся неудержно мои руки, чтобы наложить на нее ласку отеческую и горячую, замъсто моей родной дочери, Въры тоже, въ непостижимой темнотъ міровъ отъ меня затаенной... Ну, да что. Святая! Не всякая слеза дробить сердие до дна. А закачаюсь я, какъ щенка, когда она на ръчкъ всплыветь и на солнпъ, въ капляхъ своихъ, заиграеть, едва взгляну я на Вфру-дфвушку другую, и задрожу весь на ея охоту радостную меня пріютить, и благословляю въ ней родную, затаенную во тьмъ, и великій единственный свъть надъ всею тьмой міровъ кромішныхъ! «Свять, Свять, Свять Господь Саваооъ, исполнь небо и вемля славы Твоея!».

— И ничего мнѣ теперь бояться не приходится,

— а только пребывать передъ Тобой въ благодареніи непомѣрномъ и въ удивленіи навсегда. И, дѣйствительно, дивлюсь я немало — и всей жизни дивлюся, и самого себя не чую! Воть же, Влагодатная, — пребывая теперь передъ Тобой въ должномъ смиреніи, и въ нѣкоторой сытости, и въ сознаніи такого моего величія, одновременно ощущаю я, какъ будто ничего особо страшнаго и не было во всемъ, что было, и даже веселаго, прости, Святая, много открываю въ прошломъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, опять же, туть же пораженъ бываю, какъ это я живъ остался отъ всѣхъ этихъ страховъ и ужасовъ, и болѣзней, и холода, и голода несказанныхъ! Что страхъ во мнѣ теперь, а что радость великая —

невъдомо! Туманъ, Святая, туманъ великій! Конца его я не чую... И самого себя не чую! И страшно мнѣ, и радостно мнѣ, и могу я только принасть къ любвеобильнымъ стопамъ Твоимъ и слезно благодарить Тебя за всѣ Твои неугасаемыя заботы и молитвы угодныя обо мнѣ. А и въ востортѣ одномъ неразрывномъ... не учую себя никогда! «Слава Тебѣ!».

— И не запомню я теперь, сколько времени я такъ скитался, къ милости людей обращаясь, а иногда такъ и случайнымъ гръхомъ побираясь. Л только помню, что не одинъ мъсяцъ, и не два, и не три, а больше. А потомъ, забрелъ я какъ то, здёсь, неподалече, въ Харитоньевскій переулокъ и случайно же наскочиль на мою старую знакомую, вдовую генеральшу Констабельскую. Что-жъ дёлать, воть горе то! Хоть и обрадовался я, на первыхъ поражь, замечательно! Пришлось, однако, предстать передъ ней въ моемъ подлинномъ видъ, какъ я тогда быль, до встрвчи съ Вврой-дввушкой, въ шинелькъ драной и безъ одной пуговицы, и не имъя въ желулкъ никакой пиши въ теченіе трехъ сутокъ. Генеральша Констабельская, она же по дъвичеству своему высокаго званія и кавказскаго происхожденія, изъ тамошнихъ нагорныхъ прынцессь, въ прежвремена, говорять, была вхожа и въ самый императорскій дворець. Самъ же я, какъ Ты знаешь, Святая, роду простого, крестьянскаго. Хотя, будучи на военной службъ, дворяниномъ почитаюсь, и того заслужиль, но дъдь мой еще, можно сказать, быль простымь мужикомь, хотя усерднымь и трудолюбивымъ. Отецъ-же, въ гражданскіе чины вышель и о пътяхъ большое попечение имълъ. И хотя всъ они, два брата моихъ и сестра, отъ неизвъстной бользни померли въ отроческую пору, — мозгами унесло, такъ тогда говорили, — самъ же я благополучно въ корпуст и въ училищт военномъ обучал-

ся, и въ офицеры вышель отлично. Образованіе, значить, у меня есть. Но хотя я въ корпусв и обучался, но — не знаю ужъ какъ, Святая, Тебъ признаться.... Потому-ли, что я всю жизнь съ солдатами возился и на фронтахъ, японскомъ и нынъшнемъ, долгіе годы проводиль, но, только, всегда меня тянуло къ простому обращенію и къ словамъ простымъ, обыкновеннымъ и, даже, — прости, Святая, - деревенскимъ. Не мало мит за это отъ моей Глафиры доставалось! Ну, а послѣ этого... происшествія, Святая, — когда угодно было Твоему милосердію, по блаженнымъ молитвамъ Твоимъ передъ Господомъ, открыть мнв, черезъ Никиту, истинныя Твои небеса алмазныя, — то я и самъ не знаю, что со мной стало! Ни одного слова, кромъ мужицкаго, я толкомъ сказать не могу... да и отчего-то не хочется! Вообще, можно сказать, что я говорю, какъ мужикъ, и недурно себя при этомъ чувствую. То-есть, опять-же, говорю я такъ, а самъ смекаю... какъ бы заднимъ умомъ... выше, надъ этимъ, но, опять-же, говорю все такъ же. Иной разъ, Святая, и знаешь, что надо-бы сказать «кромв», а «окромя» изъ тебя такъ и претъ, такъ и претъ... А генеральша Констабельская, хотя она теперь, какъ и всь, въ бълности полжна бы обрътаться, но сохранила манерность великолъпную, — и разныя слова! Но, по одной причинъ, нъту и бъдности достойной и благородной... Живуть они тамъ... генеральша Констабельская, оба сына ея, Петръ и Георгій, а съ ними Наталья, горничная ихъ бользная, и не очень бользная, а болье притворяется, чтобы жалость была, и Фридрихъ Александровичъ, сыновей ивмецкій гувернеръ, когда они въ малолетнихъ мальчикахъ были, и теперь съ ними неразлучный, и еще Сигизмундъ Соломоновичъ, который у нихъ бывалъ. Все это, Святая, въ Харитоньевскомъ перечлкъ... Что я тамъ перенесъ, до чего наиспытался! Этого я никогда не забуду. А въдь сначала и встръченъ быль ласково, и въ домъ къ себъ впущенъ съ ночлегомъ! А и пробылъ же я тамъ всего двъ недъли...
Хотя и не было тамъ настоящихъ побоевъ, но было
другое, и не знаю, — что лучше?...

— Началось съ Фридрика Александровича. Началось-же это въ тоть-же день, какъ я вошелъ... Злой онъ, неправду онъ говорить! И отъ словъ его неправда, и отъ глазъ разноцевтныхъ, за стеклами сирытыхъ, и отъ зубовъ, и отъ носа, и отъ всей его личности непосильной. Возненавильль онъ меня и за что, я самъ не знаю. Должно быть, за грязноту моего одъванія и за всю мою личность, въ тоть лень давно неумытую и неочесанную. Самъ же онъ въ хорошихъ гамашахъ и по сей день ходитъ, а на головъ волосяная нашлепка, клеемъ примазанная, чтобы лысины вовсе не было... Всв-же они — изъ Санкть-Петербурга прибыли, — глф дфти ея, въ прежнія времена, въ императорской гвардіи съ успъхомъ подвизались, — и отъ голода себя спасаючи. здъсь-же — въ надеждъ на лучшее. А по знакомству досталась имъ отдёльная квартира отъ хозяевъ въ отъёздё, либо въ бёгахъ, по причинё историческихъ событій. Фридриху же Александровичу досталась особая комната съ умывальникомъ мраморнымъ, а на немъ косметика и банокъ всякихъ иврядное количество. И предложила мив генеральша въ этой-же комната заночевать, -- предварительно Фридриху Александровичу глазами пріятную улыбку отобразивъ, какъ бы за меня и за доброту своего женскаго сердца извиняясь. Онъ же всталь, Святая, онъ же всталь и «мадамъ» говорить, и ей. и мнъ улыбается. «Мадамъ» — или вродъ этого, но похоже. Произношение же у него было во встхъ тонахъ неразборчивое и пренепріятное для слуха, **унылое...** И положили они меня на полу, хотя съ подстилкой порядочной и пріятной, между умывальникомъ тѣмъ и печкой. Какъ разъ мнѣ въ пору пришлось, ввиду моего значительнаго роста, но такъ, что еще отчасти подъ себя колѣнки подбирать приходилось, коть и немного совсѣмъ. А у него, гдѣ я лежалъ, передъ печкой, какъ разъ особый заграничный чемоданъ, съ металлическими бляхами, дотолѣ пребывалъ. Генеральша Констабельская, вводя меня въ его комнату, и ему меня всячески рекомендуя, сама же этотъ чемоданъ въ сторонку прибрала. А онъ опять «мадамъ», и опять улыбается. А ненавидѣлъ онъ меня уже тогда...

- Только это я, къ ночи, спать расположился, и послѣ долгихъ скитаній впервое по-порядочному, и онъ входить, чтобы тоже на свою постель положиться. — береть онь этоть самый чемодань, прямымъ маневромъ ко мнв подходить, «виновать», говорить, — и съ пренепріятнымь, Благая, свистомъ. — и, бултыхъ мнѣ этотъ чемоданъ на ноги. даже не обождаль, чтобы я ихъ убраль съ того мъста, гдъ онъ раньше стояль. Туть я немножко призадумался... хотя о нахальствъ его уже тогда сталь догадываться, по злющимь его глазамь разнопвътнымъ: одинъ подъ гороховую жидель, а другой, самъ отъ себя, желтый. А онъ, какъ ничто не бывало, присълъ на свою постель и давай съ себя свои крахмальныя упружины скидавать. Ахъ, ты, думаю я, аховый ты человъкъ! Однако, на первую ночь и принимая во вниманіе генеральшу Констабельскую, вознесъ молитвы и покорился; а ноги у меня, какъ оглобля, крутыя...
- Но на следующий вечеръ... а ужъ задень-то мы порядочно глазами поцапались, и поняль онъ, что злоба его мне окончательно открылась... — какъ онъ къ этому самому маневру приступилъ, я ему говорю: «Не извольте напрасно утруждаться! Вонъ онъ, вонъ онъ, уголокъ-то для вашего чемодана!» — и пальцемъ

скромно указую на мѣсто, избранное для него ге-неральшей Констабельской. А онъ: «виновать, виновать», золотыми зубами какъ-бы пріятно улыбается, сопить слегка и на ноги мнъ чемоданомъ больно нажимаеть. А я его, чемоданъ-то, съ силой ногой отпихиваю и говорю: «Здёсь ему не мёсто!». А онъ — пропотълъ весь, лобъ мокрый, самъ блъдный, но все улыбается пуще прежняго, зубами какъбы ласково скалить и такъ-этакъ: «Хо-о-о!... Тутъ онъ бу-удетъ... тутъ онъ бу-удетъ... А вамъ здѣсь вовсе не мъсто!». Это мнъ-то... Тугь я н его ногой задълъ. А онъ перековырнулся и вмъстъ съ чемоданомъ мит на ноги сълъ. И опять — еще веселте и милее: «Хо-о-о!... Туть онь бу-удеть... туть онь бу-удеть!». И на мнъ сидить. Я ему говорю: «Уйди съ ногъ, нъмецкая колбаса!», прости, Господи! Онъ не уходить, я его вытъсняю. А онъ за меня, за мои плечи цёпляется, надъ самымъ моимъ лицомъ дышить, сопить, пответь, безпрестанно и зубами, и глазами паскудно улыбается, и все свое, какъ будто ласковое: «Хо-о-о!... Хо-о-о!...» Ахъ, нъмецъ, воть онь каковь! Такь въришь-ли, Благая, — если бы не Твое, въ ту минуту, за меня милосердное заступство передъ Истиннымъ, я бы нъмцу этому носъ откусилъ! Да надоумила Ты меня тогда съ матраца моего хватиться. Всталь я, взяль я Фридрижа за плечи, съ силой, и на собственную его постель усадилъ. «Сиди, говорю, смирно, а то худо будеть!». И туть онь мив впервое это самое слово сказаль... Взглянуль на меня, какъ-бы растроганный, точно отъ высочайшаго на меня умиленія и жалости, и говорить: «Халюнке... — такъ онъ, Святая, сказалъ, а что это, я и сейчесъ не знаю, а если плохое, прости... — халюнке, говорить, ти у меня полввешь на стынку!». Въ тоть разъ я его и слушать не сталъ, — залегъ, вознесъ молитвы и покорился въ сонъ забвенный...

- И всь две недели такъ мы съ нимъ и прожили... Была у нихъ тамъ, какъ и здъсь, кухня, и давно меня туда тянуло. Но я изъ-за самолюбія не пошелъ, ни за что не пошелъ! Потому-что не подобаеть мив, офицеру, передъ нвищемъ на кухив валяться, въ собственномъ своемъ отечествъ! Всъ двъ недъли, какъ мы съ нимъ вдвоемъ останемся, такъ другъ на дружку нажимаемъ, ноги одинъ другому давимъ, плечами и руками работаемъ, разные предметы взаимно вырываемъ, словомъ — на тъло и въ душу другъ-другу дышимъ-то! Я, точно, все это дълалъ. Но въдь я же ему и въ глаза-то глядъть не хотълъ! А онъ, какъ меня завидить наединъ, такъ тотчасъ-же ко мнъ какъ-бы съ восторгомъ бросается, руки ко мнв на плечи кладетъ, теребить ихъ, гладить, приглаживаетъ, точно, прости, Святая, баба тесто месить и обваливаеть: и шепчеть со смъшкомь, какъ-будто пріятнымъ: «Халюнке, ти у меня полъзешь на стънку!». Или сядеть на свою постель, когда я на матрацъ растянусь, взглянеть на меня какъ-бы оть высочайшаго умиленія, точно отецъ надъ сынкомъ, и опять любовно: «Халюнке, ти у меня полъзешь на ствику!». Да, такъ это оно, тогда, было... Прости, Угодница, но прійми и это ничтожное событіе жизни подъ Твое милосердное покровительство...
- Святая! Я есть доблестный воинъ государевь, что тамъ ни говори, это я навърное знаю! А въ въръ моей рабъ Милосерднаго, коего я не устанно молю, черезъ молитвы Твои угодныя и заступныя обо мнѣ. А на фронтахъ, когда въ бояхъ сражался, замыслы мои были объ отечествъ. Только и всего, Святая! Вотъ весь я! Какъ же онъ, нъмецъ такой, будучи на чужой сторонѣ, въ гостяхъ, можетъ мнѣ стинкой грозить, да еще съ руганью иностранной, для моего слуха оскорбительной?! Такъ хотя я его не причисляю къ послъд-

нимъ врагамъ человѣческимъ и о жестокомъ наказаціи для него не номышляю, но, для примѣра, слѣдовало бы его извергнуть изъ русскаго воздуха, чтобы онъ у себя на родинѣ заводилъ новыя житейскія понятія и какую хочеть мудрость иную! Да такъ бы оно и многихъ людей оберегло отъ большого возможнаго зла! Потому-что, какъ вспомню я, какъ я, тогда, чуть носа его зубами не отхватилъ... А вѣдь и не всегда-же, Благая, быть намъ въ этомъ униженіи!..

— Между прочимъ, по-правдъ, — Преславная объ этомъ я докладывалъ Тебъ безъ особой претензіи, но такъ, какъ оно было. И не это, въ главную часть, помутило меня у Констабельскихъ... Замъчаю я, съ перваго дня, что у нихъ, на столъ, всякія явства не по времени и, можно сказать, неприличныл, при всеобщемъ теперь обнищаніи, Тебв. Мило ердная, извъстномъ. Но, будучи очень голодный, вль и молчаль. А сыновья ел. Петръ и Георгій, все объ чемъ-то шепчутъ между собой и съ матерью, и по телефону частые разговоры ведуть съ разными этими... учрежденіями! На нихъ-же самихъ — отличнаго покроя и свъженькіе френчи, а на ногахъ славные сапожки. А на второй, либо на третій день, приходить къ нимъ Сигизмундъ Соломоновичъ, коммунисть и іудеянинъ... Какой онъ, Сигизмундъ, человъвъ. — этого, Святая, я, право, не знаю. А генеральша Констабельская увъряеть, что отличный, потому-что онъ ей телефонъ исправилъ, и манеры у него, говорить, въжливыя и даже свътскія, и никакого, говорить, въ немъ этого русскаго хамства, — такт она, Святая, сказала. Главное же, телефонъ исправиль... когда это было невозможно, - однако, его премилымъ, говоритъ, распоряжениемъ случилось. А какъ онъ, будучи коммунистомъ, огромную власть имбеть и все можеть, то можеть и телефоны исправлять. А самъ я не знаю, -- какой онъ чело-

въкъ? Правда, отъ иныхъ людей слыхалъ я, что отъ этого племени вообще большого добра не бываеть. Самъ же я, по совъсти, объ этомъ ничего не знаю. У насъ въ городъ ихъ вовсе мало, а какіе были, такъ я, можно сказать, съ ними ни въ какое общеніе не вступаль. А какой быль у меня Мойша-пипожникъ такъ онъ мив торты подъ французскія башни раздёлываль, и очень быль акуратный человъкъ. На фронтъ, въ мъстечках вразныхъ, видаль я ихъ много, но опять-же особо въ себъ не допускаль, а если, иной разъ бывало, какой-нибуль заголосить и надобсть, что только крикнешь ему: «пыцъ»! — онъ и бъжить. А вообще, по совъсти, не знаю я этого народа, и чего они хотять отъ Россін! И хотя, по моей всегда неослабной христіанской въръ, я отлично понимаю, что долженъ пита в естественное нерасположение къ этимъ людямъ, которые и Спасителя нашего не пожалъли, но, по существу моего малаго земного опыта, я въ этомъ дёлё ничего толкомъ не понимаю, и въ томъ Тебъ признаюсь искренно, Милосердная... Опять же, Святая, вспоминаю я о моихъ скитаніяхъ... Былъ же я, въ тотъ день, голодный, какъ всегда. И полходить ко мив іудеянка одна, суеть мив въ руку огромныйшую баранку и говорить такъ, какъ я этого давно не слыхалъ: «Господинъ полковникъ, говорить, — возьмите этотъ бубликъ и кушайте себѣ на сдоровье!». А я, съ перепугу отъ пролетарієвь несказанныхъ, сначала оторопъль, оглянулся по сторонамъ и кричу ей: «И чего, баба, врешь, какой я тебъ полковникъ?» А она подъ меня близко подходить, къ уху моему тянется и шепчеть: «Никого здёсь нёту... — а было это къ вечеру, за Крымскимъ мостомъ... — и никого здёсь нёту, шепчеть она, - и никто насъ не слышить, а я васъ видьла въ нашемъ мъстечкъ, Свенцянскаго увзда. И все мы понимаемъ... Кушайте, кушайте себъ на

здоровье — и меня простите, ради Бога! И сынъ мой, какъ вы, пропащій...» Отошла же она отъ меня, іудеянка эта, глазами часто моргая, — и на черные банты своего бъднаго платья слезится! Да, такъ это оно, тогда, было... Но Сигизмундъ Соломонозичь, Святая, -- ежели онъ отличный человъкъ и телефоны исправляеть оть одной душевной пріятности, то почему онъ — коммунисть?! Почему, принявъ въ пузо-то свое обыкновеннаго врага человеговь, онь и чужую душу травить настойчиво? Съ братьями же этими, Констабельскими, Петромъ и Георгіемъ, онъ договорился вполнъ. И пошли они оба по чрезвычайной дорогь, — такъ это, Милосердная, здісь, такое чека зовется, — и снаряжались оба на финляндскую границу, для улова разныхъ, въ страхъ бъгущихъ, буржуйныхъ и аристократскихъ людей! Они же, будучи въ прошломъ въ императорской гвардіи, и съ успъхомъ подвизаясь въ разныхъ будуарахъ и въ салонахъ свътскихъ, знали на-лицо всю, можно сказать, россійскую знать. и всякія особы. А потому, на сіе ремесло были спепіально и особо назначены... Тогда, Преславная, я терпіть въ духі моемъ, но не въ тілі! Оба діти, Матерь, оба дъти — душу свою загубили, убоявшись обыкновенного врага человъковъ, и тъмъ его до себя пуская...

— Думалъ я тогда, — поди-жъ ты, что общаго между Сигизмундомъ Соломоновичемъ и этими Конста јелі скими братьями, Петромъ и Георгіемъ? А надо Тебѣ сказать, Святая, что коньяку у нихъ было видимс-невидимо! Пили же они этотъ коньякъ, сидя въ угловой комнатѣ и превесело между собой бесѣдуя. А до меня слова ихъ долетали... Ужасно они полюбили другъ-друга, и все смѣются, смѣются... И подслушалъ я (хотя не-нарочно), что сошлись они сердечно на прелестяхъ, да еще на настоящемъ враждебномъ неудовольствіи отъ Россіи. Братья эти

оба, Петръ и Георгій, были тонкаго образованія, и на разные языки. А Сигизмундъ отъ нихъ ничуть не стставаль, будучи самь, какь я понималь, изъ богатой семьи, и подолгу въ прежнія времена проживая заграницей и въ самомъ Парижъ. И говорили-то они все больше о прелестяхъ заграничныхъ. И какія тамъ, — прости, Святая, — актрисы, и въ какіе фестоны необыкновенные онъ наряжаются, и какой походкой ходять! И все хохочуть, хохочуть, и коньякъ дують исправно! А однажды, — при миф это было, въ столовой, - когда Георгій разговариваль насчеть того, почему онъ определился на эту чрезвычайную дорогу, и тогда сказаль: «Съ паршивой овцы хоть шерсти клокъ!». Есть у насъ, здъсь, такая вродъ поговорки, да-а... А Сигизмундъ тогда говорить: «Это вы насчеть коммунистической партін такъ выражаетесь?». И хотя, будучи коммунистомъ, отличное получалъ удовольствіе въ генеральской дружбь, но все же потупился, какъ бы нъкую замѣтную хмурость выявляя. А Георгій съ удивленіемъ ему отвічаеть правдивымъ серебристымъ голосомъ: «Да нътъ-же, — это я насчеть Россіи»! И туть они оба прояснёли липомъ и захохотали весело...

— Тутъ бы мнѣ, узнавши все это, и уйти отъ нихъ, — сознаюсь! Однако, нѣтъ, сразу на это не рѣшился, потому-что былъ я тогда ужасно голодный, улицы непосильно боялся, и самъ съ собою упрямился. Вотъ горе-то!... Но начали мы обмѣниваться разными выпадами, и съ матерью, и съ ними, особо — съ Георгіемъ, младшимъ. Петръ, тотъ все больше молчалъ, и только пресерьезно, иногда, увѣрялъ, что этотъ Вожій міръ надо всячески и старательно исковеркать до полнаго обрушенія. А мнѣ-то что отъ его такой философіи? За такія слова, надо полагать, ему отъ Истиннаго Милосерднаго не поздоровится! А меня это вполнѣ

мало трогаеть, насчеть этихъ мыслей. А меня онъ какъ будто щадиль — и какъ бы напослъдокъ! А вотъ съ Георгіемь — вышло похуже. Самъ же онъ, Георгій, весь холеный, тонкій, бълолицый и съ сильными глазами! Извъстно мив, что въ старыя времена онъ при чужихъ женахъ съ успъхомъ, — прости, Святая, — задумывался! Возненавидълъ меня этотъ Георгій вослъдъ за Фридрихомъ Александровичемъ. Были же между нами такіе разгворы, что я просто не знаю, Милосердная, какъ Тебъ о нихт докладывать! А одинъ разъ, — это ужъ къ концу было, изъ-за чего я ушелъ, — такъ просто дошло до, правда, вполнъ незначительной, однако ръзвой колотушки...

— Стала она меня съ нъкоторой поры, генеральша-то, поносить за бездёліе. Вхожу я разъ къ вечеру, — цельный день ся не видаль, — подхожу къ ручкъ и освъдомляюсь: «Какъ, говорю, матушка Анна Георгіевна, насъ сегодня Богъ миловаль?». А она мит — сурово такъ, едва поздоровавшись: «Что это вы все мухъ считаете, а дела не делаете?». Меня немного проняло. «Что-же, говорю, прикажете явиться къ Троцкому для ради поклоненія?». А она мив, вся раскрасивышись: «Такихь, говорить, дураковъ, какъ мы съ вами, Андрей Трофимычь, свъть не видываль! Пора это оставить. Наше время позали. Мы свое взяли и — говорить — недурно взяли! А теперь — новое! И нечего оть него отпираться!». А я ей: «Нъть, — говорю, — Россія терпить, и я потерплю!». А она опять свое, и пышить пуще прежняго: «Благоролство ваше — на кой оно нужно? Благородствомъ вашимъ, если пожелаете знать, развъ только...» И такое она туть слово загнула, что и не думаль. по правдъ, что придется когда-нибудь такое слово — да изъ генеральскихъ женскихъ усть! И сказали бы мив объ этомъ раньше, такъ не повъриль

бы... Замолчаль я оть смущенія, — да и какъ-то противно мит стало! И, можеть быть, совстви промолчаль бы. Да этоть Георгій-мальчишка, который туть же сидель, какъ нарочно, своимъ серебристымъ голосомъ, да запъль: «А вы, Люковъ, сгніете, — вы, Дюковъ, насидитесь въ чрезвычайкъ! Я же, говорить, никогда до такого униженія не дойду. чтобы въ грязнотъ ходить, нъть, моль, благодарю покорно, да еще, — такъ онъ, Святая, добавиль, — за столь садиться!». Какъ онь это сказаль, прихлынуло мнъ въ сердцу. Всталь я, обращаюсь къ нему: «Сгнію я?!» — говорю. Я сгнилъ уже! Во мив живого мъста ивту! Двв пули, въ понскую войну, двъ — въ эту, черезъ мое тъло прошли, снарядомъ два ребра вышибло, и отъ штыка одинь разъ дырявый. Я сгниль уже!». И было мнъ, Матерь, истинно грустно, когда я это говорилъ, хотя, признаться, раньше я объ этомъ моемъ такомъ геройствъ какъ-то и не думалъ... А тутъ стало истинно грустно отъ словъ моихъ горькихъ... Добро бы ему промолчать! Такъ нътъ же, онъ опять запѣлъ, и съ пренепріятной, Святая, развязностью! «Вы, говорить, насчеть ранъ своихъ оставьте! А воть почему, говорить, на вась былье грязное? И неужели гамъ не противно?». И хотя я-же попимаю. что опъ, все-же неглупый человъкъ, не дуракъ, и не могь же онъ меня за нечистое мое бълье, по причинъ моихъ скитаній, оскорблять, а хотъль онт, мнъ этими словами только путь-дорогу къ спасенію указать, черезъ недостойную службу, но быль я тогда въ чувствахъ грустныхъ и благородныхъ. --истинно быль, Святая! Было во мнв тогда истинное умиленіе оть возможнаго душевнаго величія человъковъ! И потому, неосторожно сказалъ ему: «Грязное былье! — такъ я закричалъ. Грязное былье?! -- говорю. А измена Россій?! — говорю. А сознаніе граха?!» — говорю. Батюшки мон. что-жъ Ты. Матерь Милосердная, думаешь! Я-то полагаль, что слово мое благородное такъ его и сразить! А онъ только угломъ рта усмѣхнулся. И выразился онъ воть какъ, не совсѣмъ по-простому, но нахально: «Сознаніе, говорить, — да, такъ онъ это сказаль, — сознаніе, говорить, грѣха, приходить къ людямъ черезъ полицейскій участокъ!» Тутъ я, не желая дать ему восторжествовать, отъ ума его современнаго и бойкаго, по-молодости, — закричалъ ему, опять неосторожно: «Сгнилъ я! И еще сгнію! А Россіей и вѣрой моей торговать не буду!». И прямехонько ему въ глаза моими глазами цѣлюсь...

- И, въришь-ли, Святая, все, все это я тогда говориль вполнъ основательно, отъ души, а не для форсу передъ людьми, потому-что быль я въ истинныхъ чувствахъ. Хотя, не могу укрыть отъ Тебя, что слово это самое, насчеть торговли Россіей, я. въ самомъ началь, какъ съ фронта убхаль, подчиталь вь одной газеть, и очень оно мнъ тогда понравилось, какъ подходящее. Также не было тамъ ничего сказано насчеть въры, потому-то, -- говорили мнъ такъ, — газету эту печатають безбожники. Но я, будучи всегда въ страхъ и почитаніи передъ Богомъ, въру-то пристегнуль отъ себя, по совъсти и ради такого истиннаго случая. А вышло нехорошо... И не оть него, для начала, не оть мальчишки, а оть самой генеральши. Онъ только опять усмъхнулся. А она, какъ завопить о томъ, что ежели я сгниль и еще хочу гнить, то нечего мив тягаться съ ея сынами. нечего мив объ ихъ жизни и думать, и намекнула туть впервое, что надо-бы мнв собираться вонъ. И хоть прямо не сказала: «вонъ изъ моего изъ дому», но вышло на то похоже. И еще добавила она, вставая, въ сердцахъ, и уже къ дверямъ направляясь, добавила о томъ, что изъ гриба-поганки. такъ она сказала, и вообще, была у нихъ такал констабельская манера говоритькакими-то цитатами — что изъ гриба-поганки нельзя сдёлать розовое варенье. И котя сія аллегорія показалась мить вовсе ужъ и не вразумительной, потому-что — и за что это я — грибъ, да еще поганый, и почему они, пойдя по чрезвычайной дорогъ, должны за розы почитаться. — но стало мнв очень грустно, по причинъ моего непосильного страха улицы... Передъ темь, какъ къ нимъ притти, въ моихъ скитаніяхъ, стало у меня за последнее время что-то въ животе пергать и острить, въ животв, то-есть въ правомъ боку, такъ что иной разъ я ходить больше не могъ... Всталь я и чувствую, что голось мой упаль, да-а-а... Ла и насчеть этого розоваго варенья и грибовъ мнв тоже въ память вшибло. Всталь я, чувствую, что весь трясусь, и говорю: «Розъ мнв не надо, матушка Анна Георгіевна, а хлъбъ свой я всегда найду у честныхъ людей!». Последнее слово, конечно, неосторожно сказаль, какь то оно само выскочило...

— Тутъ то и произошла эта колотушка, съ руганью! Только я это вымолвить успъль, вскакиваеть этоть мальчишка, весьма проворно ко мит подходить руку мнв на плечо положиль: « Ну, говорить торопитесь !». А затымь, впился меня своими сильными глазами, въ зрачки мив смотрить и еще говорить : « Не забывайте, Дюковъ, съ къмъ вы говорите! Нето будеть по-моему, сгніете вы, Дюковъ, въ чрезвычайкь!». Дыханіе его самое, глаза эти непосильные и рука его на плечъ — душили меня, Матерь, какъ чадъ полынный! А туть, — воть горе то! всилыла вдругь передо мной какая-то, прости, Святая, бъсовская рожа... Фридрихъ-то, Фридрихъто Александровичь, который во все время разговора въ углу сиделъ... показалось миё-то, что онъ такъ и затопилъ меня своими какъ будто ласковыми глазами, и губы его сами оть себя зашентали это самое: «Халюнке, ти у меня полезешь на стенку!».

А мальчишка этоть мое плечо все сжимаеть. А я, по причинъ моего офицерскаго званія и чина моего, надъ нимъ, мальчишкой, превосходнаго, ръшилъ хоть и уйти, но не сразу, не бъгомъ... Замъть, Святая, замыть, - я же къ нимъ не напрашивался! И почему они встрътивши меня на улицъ, обласкали меня. тогда пріютнымъ предложеніемъ?! Боюсь думать, но чую, что здёсь были какія-то темныя глубины... Очень ужъ онъ. Георгій этоть, на новой служов своей тянулся и въ доввріе къ начальству войти хотвль... А туть еще этоть... со своимъ этимъ словомъ непонятнымъ и непосильнымъ: «Халюнке...» Удариль я этого мальчишку въ грудь — и кулакомъ, и кричу ему: «Вы хулиганъ!». А за недъли эти я у нихъ подкормился, и было ему, должно, шибко больно. Бросился онъ на меня и опрокинуль на поль. И хотя ничего особо серьезнаго не произошло, но, однако... Генеральша меня за ноги держала и рукамъ моимъ мешала, въ материнской заботь, какъ бы я ея сынка не обуродовалъ, самъ-же онъ, сыновъ-то, раза два меня по щевамъ хлестанулъ. Вотъ и все... А затъмъ я на кухнъ очутился — и шинелька моя позади меня туда же влетвла...

— Ну, тутъ, Святая, дальше — маленькое! Можетъ, и вспоминать объ этомъ не стоитъ... Однако, мимолетно, то-есть черезъ кухню пролетая, еще разъ унизился... и усилиъ горечь! Наталья, горничная ихъ болѣзная, и не очень болѣзная, а такъ, все болѣе представлялась, чтобы была къ ней жалость, и на ревмастики жаловалась... Какъ вокругъ молодыхъ господъ, или этого Сигизмунда, хлопотать и на чаи получать, такъ во-о какъ бѣгала! А какъ мнѣ въ чемъ услужить, такъ — ревмастики!... А страхъ улицы, — признавался уже я, — былъ во мнѣ великъ. Да и дѣло-то было къ ночи, разговорецъ-то нашъ сильно затянулся. А за кухней, подлѣ сѣней, былъ у нихъ тамъ такой, вродѣ сарайчика

для дровъ, тамъ же и всякая битая посуда, и ведра дырявыя стояли. И показалось мив, Святая, мимолетно, передъ моими новыми скитаніями, что как Россія наша общая родина-мать, и моя, и Констабельскихъ, и какъ теперь я, по волъ злодъйской родины какъ-бы лишился, и некуда мив мою тревожную голову къ ночи преклонить, — то могу-ли я раскинуться въ этомъ маломъ сарайчикъ для отдыха последняго и безъ особыхъ угрызеній насчеть того, что генеральша приказала мив выйти вонь? Такъ я тогда смекнулъ. И говорю къ ней: «Натальюшка, краса моя ценаглядная, какъ хочешь, а я въ этомъ сарайчикъ на сегодня завалюсь. А за тебя — вознесу молитвы!». Она-же весьма одобрительно относилась къ молодымъ господамъ и къ Сигизмунду, а ко мит опять же весьма неодобрительно. Въ Санктъ-Петербургъ она жила въ большой тонкости и, даже, многія свои понятія французскими словами изъясняла. Такъ-что она мив сказала: «Уйдите, не раздражайте меня! У меня ревматизмъ, ежели вы способны понять (это она мнъто!), уйдите! А то придутъ Георгій Сергвичъ и прибыють васъ!...» Да, такъ это оно, тогда, было... И, снова, Святая я вышель въ темную ночь...

- Послѣ этого я еще скитался, почитай, съ мѣсяцъ. Навидался снова всякихъ людей. Приходили они и отпадали, какъ тѣни... Искалъ смиренія всегда, но въ чувствахъ растерзанныхъ, въ изступленіи неукротимомъ, содрагался многократно, когда, бывало, переутомлюся слишкомъ! На Твое милосердное заступство уповалъ неустанно, но отъ людей, почитай, ничего уже не ожидалъ, потому что они... какъ тѣни...
- И еще была одна колотушка, вовсе, Святая, незначительная, когда я одному человъку не повъриль, что онъ можеть ъсть завъдомо тухлыя яйца. Да, такъ это оно, тогда, было... Сидимъ мы оба,

я, да этоть человъкъ, ночью, подъ мостомъ, за храмомъ дюбвеобильнаго Сына Твоего, Господа нашего Христа Спасителя. Сидимъ, оба печальные и гололные, и молчимъ, и на воду черную глядимъ. И хотя мы другь-дружку не знаемъ, но отъ нечего-дълать, иной разъ, словомъ-другимъ и перебросишься! Онъ мнъ и говоритъ: «Вли вы что-нибудь сегодня?». Хоть онъ «вли» и не сказаль, а по-другому, но я пля Тебя. Святая! А я ему и отвівчаю, что всть ничего не повлъ, но что въ скитаніяхъ моихъ, какъ я Балчугомъ шелъ, — есть здёсь, Святая, одна такая улица широкая, близь рынка, — то видъль на полу, то-есть на улиць, одно яйцо, которое показалось мнъ полное, а при самой тщательной провъркѣ, оказалось, хоть и полное, но тухлое до черноты, и я его бросиль. А этоть человъкь мит говорить: «И напрасно бросили, а я воть могу тсть завъдомо тухлыя яйца!». Огорошило это меня немного. потому-что отъ роду я объ этомъ ничего не слыхаль. Лумаю, — человъкъ хвастаетъ! Помолчаль я отчасти продолжительно, а потомъ говорю: «Не можеть этого быть, чтобы вы могли всть завъдомо тухлыя яйца!». А онъ ко мнъ лицо свое оборачиваетъ и спрашиваетъ: «То-есть какъ-же это, говорить, не можеть быть?». Ну, а что мив было на это отвътить, — я и говорю: «Да такъ-же: воть, говорю, и не можеть быть!». Что съ нимъ туть сдълалось, я и сейчасъ понять не могу.... Какъ завопить на всю ръку: «Да ты что надо мной издъваешься!», и всякія слова, глазами въ темнотъ сверкнуль и шасть!-вскочиль, и на меня! Я ему кричу, что мнъ насчеть «завъдомо» ему трудно повърить, что «завѣдомо»-то меня смущаеть, а что вообще тухлость. конечно, бываеть. А онъ и слушать ничего не хочеть, на меня наступаеть: Я — оть него! Онъ за мной! Нагналь меня, по причинъ моихъ ослабівших ногь, по затылку меня — хлопъ, хлопъ —

раза два, а затѣмъ, за плечи взявши, въ воду сбросилъ и окунулъ. Держитъ меня за плечи, не выпускаетъ — и вопитъ: «Говори, раскаиваешься-ли ты въ этихъ дерзкихъ словахъ, вѣришь теперь, что могу и ѣсть эти яйца?». Что тутъ, Святая, въ такихъ случаяхъ подѣлаешь! Я отъ всего и отрекся, хотя сомнѣнія меня тогда не покидали насчетъ «завѣдомо», и теперь не покидаютъ. Вытащилъ онъ меня изъ воды, еще подъ затылокъ далъ, на дорогу, и отпустилъ. Сильно меня тогда промокрило!...

- А потомъ вилъла Ты меня, Милосердная, — шель я по переулку, громыхая, какъ Иродъ, и при одномъ только ужасъ-желаніи, и весьма опрельленномъ... Хотьль я тогда затормозить эту планету непонятную и непосильную... искали руки мои порушить всю міровую затію, разнести вдребезги окрестные дома — и самый воздухъ, которымъ уже и дышать я не могь по-христіански, развергнуть и сокрушить! И жабовъ, Святая, жабовъ полковыристыхъ учуяль я по всей земли и до самаго неба! Быль камень міра, обросшій дикостью и густотой разящей, ядовитой! Зачемъ?!... Дышаль я на него! Плескался сокомъ-то крови — изъ сердца! Зачьмь?! Тумань, Святая, тумань великій!! Однако, изъ каменной расшелины этого бытія несказаннаго исторглась, съ нѣжностью во взорѣ, Вѣра-дѣвушка... То-то, она меня пріютила! То-то, жабы подковыристыя!! То-то, рать злодъйская!! Эхъ, Святая, Святая...
- О чемъ моя боль?! Есть у меня замышленія. Человъкъ есть существо естественнаго мрака. Однако, стремится къ свъту... Были у меня, Святая, родныя поля! И сидълъ я въ окопахъ. То-ли вътеръ ходилъ надо мною, то-ли вода плавала вдали, то-ли солнцевый лучъ увънчалъ зеленую рощу, а ужъ билась битьемъ веселымъ, разгульнымъ и отличнымъ моя душа! И хотълъ я тогда сразиться съ нъмцемъ

на-славу.... Была же во мнв тогда правда простая, обыкновенная, каждому понятная... Что есть мракъ льса? Потемки простыя. Можеть солнцевый лучь скользить отъ поднебесья и въ самыя нѣдра земли? Всегда это такъ бываетъ, — и потемокъ ужъ нътъ. Можно-ли чего боятся, въ жизни, пуще смерти? Ничего. А и самая смерть не страшна!... А потомъ подошла чернота и сърость... И я сначала ничего не понималь... не могь я тогда догадаться, что это есть отъ моей-же заранве помутнвышей души — и бывшей такъ, не по моей винъ, изначала моей жизни. Плакаль я тогда и страшился премного! Потому-что думаль, что это оть человъковъ — и оть меня. Однако, въ скорости понялъ, что въ забвеніи Милосорднаго родилось мое непониманіе. Какъ они меня тогда избили въ кровь, и потомъ приказали жить и веселиться и вольно ходить по просторамъ земли. самому въ красные банты облечься и такъ-же возвеличить этотъ малый цветокъ. — такъ стала для меня послёдняя правда, которой и теперь поклоняюсь! Нѣту лѣса темнаго, не скользить никакой солнцевый лучь, ничто никуда не уходить и не приходить, ни вода, ни вътеръ, а и жизни моей особой нъть, а смерти и вовсе нъть! Слышишь-ли Ты, Святая, мое пониманіе? Взываль-же я къ Тебъ о Глафирѣ, женѣ моей, и о дѣтяхъ моихъ пропащихъ! Ввываль и еще взываль — оть одного неутомимаго понятія моего, что вся жизнь, всё смерти, всё ухожденія вдаль и возвраты вблизь, отъ воды-ли, отъ вътра, отъ огневыхъ-ли силъ, горящихъ мимолетно, и звъзды всъ, и солице жаркое, — на заранъе опредъленныхъ мъстахъ, подъ непосильнымъ Твоимъ милосердіемъ, Господи, сверкаютъ вѣчно — и не падуть никогда! Мы въ бой вступаемъ и продвигаемся, либо отходитмъ! А Твои Боже нашъ, огромныя позиціи — незыблемы до безпредъльности! Тамъ-же, Господи, тамъ-же, въ черноть огневой и сверкающей, моему уму недоступной, исходить факеломь покорнымь Глафира, жена моя, дъти мои... дътка моя любимая... Страшно мнъ, Господи... Воззри-же на меня, плачущаго за нихъ, — безъ гнъва, но въ милосердіи отъ моего пониманія должнаго и упованія настоящаго! Воззри-же, какъ бьюся я денно и нощно въ могучей, непосильной правдъ Твоей — и хотя кръплюся постоянно, но плачу, плачу... Воззри-же, Господи, по велицей милости Твоей!...

— И вспоминаю я, Святая, мое детство! Ходиль давнымъ-давно къ матери моей одинъ монахъ... Монахъ онъ былъ, — прости, Святая, — непутевый... словомъ, придерживался чарочки, такъ что матушка моя дальше кухни его не допускала. Но, скажу по совъсти, - умственныя и спасительныя вещи говориль такія, что было просто удивительно, и въ сердне входило тепло. Говорилъ же онъ такъ: «Богь есть въчно. Благость Его, милосердіе Его есть въчно. А что есть самое въчно? Въчно, оно не здёсь, и не туть, и не тамъ, но — замечай! — и здівсь, и тугь, и тамъ — и вездів — и еще всегда! А дьявола власть можеть и могуче Бога быть, -да что въ ней толку! Она не въчно! Занесется-ли она въ вилъ секунлы малой, или на огромное тысячелътіе даже, все одно — сгинеть, и поминай какъ звали! Богъ есть въчно, а дьявола власть, она замѣчай! — тутъ, либо здѣсь, либо тамъ — и не вездѣ — и еще не всегда!» А я, бывало, въ младенческомъ моемъ непониманіи, спрошу: «А гдъ есть вѣчно?» А онъ — разгнѣвается и скажеть: «А ты, малый, слушай ухомъ, а не брюхомъ. Я же тебъ только поясняль!» И опять сначала... И спросилъ я его однажды: «А можно Бога вильть?» Онъ же ответиль: «Неть, нельзя никакь! Богь укрыдся отъ взоровъ человъческихъ, по причинъ нашей большой грешности, — разве только святымъ угодникамъ, либо какимъ мученикамъ за вѣру, въ послъднюю минуту!» А я опять спросилъ: «А, значитъ, милостъ, милосердіе Божье, могу я видътъ?» Онъ же тогда сказалъ: «Вполнъ можешь — и во всякую минуту, черезъ посты и молитвы. Потому-что я же тебъ, вотъ, пояснялъ, что милосердіе Божье, оно — не здъсь, не тутъ и не тамъ, но здъсь, и тутъ, и тамъ — и вездъ — и еще всегда!» Такъ это оно, тогда, было...

— Что-жъ, Святая! Прошли года небывалые... А теснить меня и сейчась эта детская правда, наслушаная у человъка убогаго. — пусть хотя бы и въ чемъ непутеваго, это не моего ума дъло! Прошли года небывалые... А теперь, почитай, вся Россія въ постахъ и молитвахъ истомилась, насупротивъ враговъ человъческихъ, и кромъ развъ какихъ-нибудь Констабельскихъ-людей! А ужъ я-то, рабъ върный и постоянный... Скажу я просто! Могу я, Святая, умолить Тебя какъ-бы сопричислить меня къ мертвымъ?! Опять-же, чемъ я не мертвый?! Хочу я, вивств съ ними, не нынче-завтра возстать изъ гробовъ! Жизнь свою я не творилъ произвольно, но хочу стоять на страже ея, какъ часовой на посту... Возстануть они изъ гробовъ, покажуть намъ свои раны, и скажуть: «Что! Били вы нась?!» А кто имъ въ ту пору отвътитъ? А я между ними буду, какъ часовой на посту, себя и всъхъ оберегая, и тогда угомоню я всъхъ словами великими: — Я-ли не молилъ Тебя, Матерь?! Вымоли, Владычица, вымоли, Преславная, вымоли, Благолатная, молитвами Твоими заступными и неотказными, моленіями Твоими вічными и неотступными, вымоли у Господа нашего, чтобы Онъ, по молитвамъ рабовъ Его погибающихъ, ниспослалъ намъ Свой единый милосердный знакъ!...

И однажды его забрали.

Былъ-ли доносъ со стороны, или это домашнимъ латышамъ просто надожло слушать его ежевечерніе вопли, — объ этомъ Никудимову ничего толкомъ узнать не пришлось. Словомъ, — забрали! Пришли и забрали.

Пришелъ тощій мальчикъ, съ шейкой, какъ у дѣвочки, и съ лицомъ перепуганнымъ и какъ-бы на самое себя недоумѣвающимъ. То былъ товарищъ комиссаръ, — съ именемъ, такимъ длиннымъ и сложнымъ, что Андрей Трофимычъ, пожалуй, и не выговорилъ бы. А съ нимъ три невѣдомыхъ латыша, державшіе винтовки и объяснявшіеся, вслухъ, на своемъ языкѣ. Тощій мальчикъ вытащилъ изъ кармана бумажку и, тщательно разыгрывая развязность въ манерахъ и непоколебимую крѣпость духа, но то-и-дѣло косясь на ноги и на руки всѣхъ мужчинъ, стоявшихъ на кухнѣ, пробормоталъ по писанному какія-то невнятныя слова. А затѣмъ Андрея Трофимыча увели.

Показалось Никудимову, что когда Андрей Трофимычъ прощался съ Въруней, на лицъ его, впервые за все время его пребыванія въ домъ, дрогнуло нѣчто похожее на понятную человъческую улыбку... Онъ унесъ съ собой свою герань. Хотълъ захватить и палку. Но тощій мальчикъ испуганно взглянулъ на латышей, — тъ не позволили, и палка осталась у нихъ на рукахъ... По Ирининскому переулку онъ шелъ бодро, стремительно поддавшись впередъ плечами и туловищемъ, и какъ-то неестественно высоко вскидывая ноги; было въ его походкъ, отъ этого страннаго сочетанія выдвинутыхъ плечъ и вскидываемыхъ ногъ, какое-то острое подкарауливаніе ритма передъ началомъ большой пляски. Голова и глаза были чуть приподняты, — онъ вслуши-

вался въ дальніе призывы: въ неистребимые призывы своего неугасимаго духа! Стража едва посивала за нимъ. Латыши, по росту своему, подходили ему подъ-плечи. А тощій мальчикъ — чуть-ко-рыше пояснины.

Но почему, — вскорѣ послѣ ареста, — онъ попалъ въ каторжную тюрьму?! Почему на него надѣли куртку, штаны и круглую шапку изъ грубаго сѣраго войлока, и взвалили ему на плечи огромную косу, и потомъ, однажды, въ такомъ видѣ прогнали по всему Разгуляю и дальше, по той когда-то заново строившейся и оставленной не-мощенной, заброшенной улицѣ, которая ведетъ отъ Разгуляя къ вокзаламъ?

Это произошло при раннемъ осеннемъ закатв. Ихъ было человъкъ тридцать, они несли высокія косы: на ножахъ загоралось бёлымъ пламенемъ и тускло холодёло мёдное, помугнёвшее солнце. Охраны не было. Но позади шагаль маленькій, гладко упитаный комиссаръ, съ револьверомъ въ кобуръ. Они спускались съ высоты Разгуляя, и такъ какъ Никудимовъ шелъ снизу, со стороны Басманной, то они показались ему огромными, головою уходящими въ небо! (Впрочемъ, такъ онъ чувствовалъ и видёль часто, въ тё дни, независимо оть уклоновъ, всходовъ или ниспаденій улиць и дорогь). На всёхъ были благородныя каторжныя облаченія того времени. Никудимовъ подумаль: «Неужели бываютъ такія большія косы?!» А поравнявшись съ ними, остановился.

Они шли тихо, съ перевалкой, замедляя шаги и молчаливо задумавшись. Внезапно, къ горлу Никудимова сталъ быстро подбираться удушливый шаръ... Такъ-ли? Не обманывають-ли его глаза?! Вотъ этотъ большой человъкъ, пытающійся шагать браво — и съ такой дітской важностью несущій свою тяжелую косу! Этоть огромый человъкъ, кача-

ющійся, шаткій, похожій на больного верблюда?!

Да, это быль Андрей Трофимычь.

Теперь онъ шелъ, согбенный, нелѣпо мотая головой, безпрестанно вскидывая ее вверхъ и снова опуская на грудъ. И черезъ каждые два-три шага онъ съ силой втягивалъ въ себя воздухъ, раздвигая губы и затѣмъ по-ребячьи надувая щеки, при выдыханіи. Онъ пытался выступать браво! Еще болѣе, чѣмъ прежде, отощала его шея; на два пальца отъ нея отстоялъ низкій, прямой воротничокъ его сѣрой куртки. Да, онъ былъ похожъ на больного верблюда!...

— Андрей Трофимычъ!! — громко закричалъ

Никудимовъ и ступилъ на мостовую.

И, кажется, Андрей Трофимычь узналь его. Но когда глаза ихъ встрътились, когда во взглядъ Андрея Трофимыча, какъ краткая зарница, мигнуло это раздробленное, шалое пламя напряженнаго упованія и затаеннаго хохота, Никудимовъ почувствоваль, что отнынъ мысли полковника навсегда покорены міромъ — ему, Никудимову, недоступнымъ.

Тогда Никудимовъ подумалъ:

«Можеть-быть, такъ оно и полагается? Можеть-быть... упованіе... должно сначала загасить въ человъкъ послъднюю искру разумной мысли, а потомъ ужъ — въ въчномъ милосердіи скръпить?»

— Я знаю этого человѣка... Онъ боленъї — говориль онъ подосиѣвшему комиссару. Но тоть, приподнявь обѣ руки къ своей груди и какъ-бы отстраняя Никудимова раскрытыми ладонями, строго-настрого просиль «не вмѣшиваться не въ свое дѣло» и, кромѣ того, снисходительно, съ неопредѣленной улыбкой, объясняль, что Андрей Трофимычь, можеть быть, и боленъ, но что онъ весьма тихій и вполнѣ работоспособный человѣкъ; арестоваль же и приведенъ въ такой видь, — насколько ему, комиссару, извѣстно, — за злостное дезертирство и

еще за какой-то поступокъ — при допросѣ. Пикудимовъ быстро и прерывисто спросилъ:

— Воть оно что! Быль... поступокь?! Было... Оставили вы ему... послѣ этого... его герань?

Но комиссаръ, скользнувъ подозрительнымъ взглядомъ по лицу Никудимова, ничего не отвътилъ и отошелъ. А Никудимовъ подумалъ:

«Тридцать косъ — и одинъ револьверъ въ кобурѣ! Какъ, однако, они предварительно приглядѣлись къ Андреямъ Трофимычамъ!»...

Они уходили... Теперь они шли по немощеной улицѣ, вдоль деревянной ограды, подлѣ пустыря. Подъ ихъ ногами едва взбивалась тяжкая осенняя пыль... Никудимовъ глядѣлъ имъ вослѣдъ — и, почему-то, сказка далекой ранней юности и первыхъ русскихъ упованій возстала передъ нимъ, въ саванѣ мертвеца. Мысль его покорно опускала крылья.

«Съ годами, — думалъ онъ, — солнце свътить все ближе, все безпризывнъе! А въ юности — даже закатные лучи, какъ восходящіе, смъшиваясь съ пылью дорогъ, устилають жизнь золотыми далями! Гдъ теперь эти дали? Куда теперь уводять Андрея Трофимыча?! Почему коса его ръжетъ небо?!»

И еще думалось Никудимову о томъ, что одинокое присутствіе единаго комиссара, при этомъ прощальномъ шествіи Андрея Трофимыча въ невѣдомыя дали — является, въ сущности, престраннымъ историческимъ недоразумѣніемъ. Вѣдь быложе, въ прошломъ, немало людей, которые, на протяженіи всей жизни Андрея Трофимыча, всячески травили его за то, что онъ — былъ онъ, — за то, что онъ любилъ то, что любилъ, — за то, что вѣрилъ въ то, во что вѣрилъ! Травили по-разному: по Марксу, по Виктору Чернову, еще по какому-то, или такъ — просто отъ собственнаго большого ума! Почему бы этимъ людямъ, — размышлялъ циническій Никудимовъ, — не собраться теперь въ этомъ за-

брошенномъ, одичавшемъ пустырѣ, по которому шагаеть Андрей Трофимычъ, почему не бѣжать вослѣдъ за нимъ, потрясая въ воздухѣ разными книжицами и статейками (или, хотя-бы, просто манжетами и пенснэ, ввидѣ интеллигентскихъ кастаньетъ), и не кричатъ съ азартомъ галопирующихъ въ уличной пыли мальчишекъ-хулигановъ:

— Пойма-али!... Пойма-а-али!!... Пойма-а-аали!!!....

### X.

А теперь Россія осталась позади! Поздней осенью 1920-го года Никудимову удалось бъжать. Последній ободранный куполь церкви, на холму, близь бълорусской деревни, ставшей пограничной, и последній красноармеець, нелено стоящій на-страже позора Россіи, были ему одинаково непонятны, одинаково и жутко ненужны. Въ осеннюю ночь, на рубежѣ поверженной Россіи и передъ просторомъ тогда его манившихъ новыхъ, свободныхъ земель, возникшихъ изъ крови родины, Никудимову не было ни радостно, ни печально. Воображение дразнило многимъ небывалымъ, чудеснымъ! Но сердце сурово объщало иное, и губы убъжденно прошентали кроткую и покорную молитву, подсказанную любящимъ другомъ. И остались позади какая-то безымянная. недожитая, но изжитая боль и мечта цёлой жизни — и дни и ночи скитаній, бъгства, страха, безсмысленныхъ униженій и никому ненужнаго, одинокаго изумленія, тоски...

Теперь онъ живеть въ Парижъ, въ кварталъ весьма отдаленномъ отъ русскихъ центровъ, едва проглядываетъ кое-какія эмигрантскія газеты и не посъщаеть никакихъ митинговъ... Впрочемъ, какъто онъ заглянулъ-было на одно русское собраніе, въ

одномъ изъ кафе по бульвару Монпарнассъ. И вотъ, что онъ увидълъ и услышалъ. Почтенный, съдой старецъ, съ большой библейской бородой, и бывшій когда-то въ Россіи, въ сердцъ ея — Москвъ, значительнымъ дъятелемъ, — дъятелемъ обще-государственнаго размаха, — говорилъ, обращаясь къ немногочисленной и сонной, какъ околъвающая муха, аудиторіи: — «Религіозныя върованія, какъ извъстный комплексъ явленій, имъющій свое право на существованіе, какъ всякая свободная вещь...» Дальше Никудимовъ не слушалъ. Онъ записалъ на листкъ бумаги слова оратора (осталась у него эта страстишка — записывать), записалъ буквально — и сбъжалъ.

Пишеть онъ, впрочемъ, мало, — слишкомъ мало, говорять иные друзья-недруги. (Кто другь, кто недругъ — не разберешь!). Нъмота обуяла его! Онъ — какъ мелкая рыбешка, которой удалось сорваться съ крючка рыболова. На одно лишь мгновеніе она восприняла пропасть безводную, чудовищный обликъ человека, съ подъятой рукой, и учуяла огромное удушье, смерть! И сорвалась съ крючка, оставивь на немъ кровавые кусочки своей утробы. Ядомъ исторгнутой горечи, вмёсть съ каплей немощной крови, вабаламучены окрестныя воды. И въ страхв она погружается ко дну... Но иногда и человека влечеть — къ этимъ колоднымъ, блёднымъ и все большимъ глубинамъ, гдв, по словамъ одного не-русскаго поэта, одни лишь утопленники быются лбами о выступы неведомыхъ утесовъ.

Дѣла его, вообще, ничтожны... Стремленія — неуловимы, блѣдны... Но иногда у него бывають милыя сердцу утѣхи, предпринятыя съ одной лишь цѣлью мимолетнаго торжества надъ обычнымъ теченіемъ жизни.

Онъ любить, иногда, въ предосеннюю золотую пору, отъйхавъ отъ Парижа на десятокъ-другой ви-

лометровь, засесть въ самой глубине какого-нибуль обширнаго и густого леса, засесть на большомъ мшистомъ камнъ, и такъ-вотъ сидътъ — весь день — отдаваясь мыслямь, безцальнымь и неланымъ, а въ вечеру слушать то далекіе, то близкіе перекаты охотничьяго рога, когда онъ стонеть и гремить надъ лесомъ, возвещая міру торжественную славу завершенныхъ кровавыхъ забавъ! О кровавыхъ забавахъ онъ не думаеть, но любить вообразить, для собственной души, что то ангелы земные перекливаются съ архангелами небесными насчеть прелестей лісного уюта, уединенных в мостиковъ, недоумънныхъ, заброшенныхъ полянокъ и вечернихъ сумерекъ, когда онв золотятся, дробятся, сыплють искрами, вспыхивають красными снонами, нѣжно, боязно вздрагивають и порывисто шарахаются по дистьямъ, по стволамъ и по всему большому, многодумному, пышно-затихшему лъсу! Ангелы земные докладывають архангеламъ небеснымъ, что у этихъ пленительно-встрепанныхъ всадницъ, въ охотничьихъ костюмахъ, которыя вдуть игривымъ шажкомъ по лъсной тропинкъ и мирно, мило бесъдують красивыми голосами, душа столь же изящна и прекрасна, какъ и глаза, губы, ноздри, глубокіе, нъжныя, тонкія, упившіеся и пресыщенные свъжей кровью павшихъ звърей... Поздно! По тропинкъ прошла согбенная, черная, востроносая старуха. съ большой связкой хвороста на спинъ. Прошла и спустилась въ лъсную котловину! Исчезла... Къ какому сыну печальному, къ какой светлокудрой внучкъ, она понесла свою черную засохшую старость, свою согбенную близость къ земному тлёну, къ мраку могилы? Ну, а если нътъ никого! И если она, какъ звърь, живетъ въ какой-нибудь лъсной берлогъ, среди обломковъ и лохмотьевъ прошелшей, конченной жизни, и по ночамъ стращится таинственнаго шороха мглы, этого - ей, одной, знакомаго — скрипа своего сердца, своего мозга! Да, въ такія-воть страшныя, послёднія ночи, когда жизнь ея кончается, какъ дикая животная быль, — сохранила она хотя бы воспоминаніе о небесныхъ серафимахъ изъ пъсенъ и сказокъ своего дътства? Или жизнь ея столь же тлённо идеть къ небытію, какъ гніеть дерево кровли надъ ея конурой?

Послушаемъ объ этомъ у ангеловъ лесныхъ, когда они воспламеняются пурпуромъ далекаго неба и первой фіолетовой звіздой! По-истині чудесны прозрачное благоволеніе, покой вечерній и соразмърная милость уходящаго свъта и медленно нисходящей тьмы. Если вслушаенься въ шорохъ валежника, надъ которымъ воздухъ потемнълъ. и одновременно уловишь шелесть съ самой вершины дерева, гдв еще такъ свътло, то почувствуещь, что въ этотъ часъ у дня и ночи созвучное дыханіе. Какъ тихо въ замирающемъ лъсу, подъ крыломъ нерушимой міровой світотічні! И какъ проникновенно хороша жизнь въ эту минуту! Люди играють на рожки, поють пъсни, какой-нибудь чудакъ сидить на старомъ камив и предается растроганнымъ размышленіямъ, другіе — любять, иные уповають, молятся! И все это, въ строжайшей, непонятной законообразности, блаженно минуя стезю міровыхъ блужданій, уносится высоко-высоко, до забытыхъ черной старухой пъвучихъ серафимовъ, съ золотыми арфами, до архангеловъ небесныхъ, правящихъ міромъ однимъ лишь трубнымъ созвучіемъ, коимъ они неустанно и громогласно славять незыблемое величіе, совершенство, безтлённую крепость заповедных скрижалей. И такъ, въ гармоніи вечерней благодати, къ приходу теней, летять на землю отвътныя милосердныя въянія и грозныя дуновенія Всевышняго Судін, хораль раздумій Его, нераздельныя, сладкозвучныя строгость и благость. И никнуть покорно наша немощь и боли, и наша ненужная гордость, и вотъ — и самый сокровенный ужасъ человъка поверженъ. Человъкъ смирился. Аллилуіа дыханію нашему въ вышнихъ! Аллилуіа вечерней благодати!

**Й Никудимову** — легко, воздушно-легко; онъ полонъ невозмущеннымъ, кажимъ-то не-русскимъ очарованіемъ!

А къ наступившей темноть, когда выходишь изъ льса, вездь — вокругь — мигають огни человьческихъ жилищъ... Въ чужихъ квартирахъ, когда заглядываешь туда изъ темноты улицы, все кажется осмысленнымъ, содержательнымъ и пребывающимъ въ миръ и тишинъ. И хорошо тогда, затаивъ дыханіе, приложить ухо къ полураскрытому окну и подслушать, какъ тикаеть, нъжно шепчетъ и сладко шипить это маленькое укрытіе чужой человъческой жизни.

И Никудимовъ вдетъ домой...

Въ купэ вагона третьяго класса, скудно освъщенномъ и съ низкимъ потолкомъ, цълая французская семья, — возвращаются откуда-то изъ провинціи, съ похоронъ жены «дяди Жюля». Они бесъдуютъ объ этомъ оживленно, дъловито. Они высчитывають, сколько долженъ былъ израсходовать дядя Жюль на похороны жены. И каждый помнитъ какую-нибудь деталь. Дъти-подростки высказываютъ свои восторженныя предположенія. Подъ самымъ Парижемъ, на маленькой, полутемной станціи, отецъ семейства, выглянувъ изъ вагоннаго оконца, кричитъ въ темноту:

— Ohë! Francois... Juliette... vous êtes la? И къ вагону шумно подбъгаетъ небольшая толпа родныхъ и знакомыхъ. Нѣжныя, пѣвучія привътствія и восклицанія. Необыкновенно быстрые и мѣткіе разспросы и отвъты. Въ одно мгновеніе, — меньшее, чѣмъ то, которое потребно иному московскому кущу для чиханія, — дружно подобра-

на и скрѣплена нить общей жизни, лишь временно порванная отъъздомъ и дальними похоронами. По-ъздъ тронулся...

— Et ce pauvre Jules, comment est-il — кричить женскій голось изъ толны.

Но повздъ ускоряеть ходъ, и отецъ семейства, изогнувшись надъ оконцемъ, машетъ шляпой въ темноту и едва усивваетъ выкрикнуть свое основное впечативніе:

— Jules... merci... Jules a trouvé l'enterrement épatant!

И Никудимовъ продолжаетъ думать, въ порядкъ недавняго лъсного очарованія:

«Какъ это просто — и какъ хорошо! Бѣдный вдовецъ, черпающій подлинное утвшеніе въ томъ, что жену его похоронили шикарно...»

А по возвращении въ городъ, уже на бульварахъ Парижа, сквозь сътку дождя и запахъ мокраго асфальта, среди желто-пышущихъ электрическихъ огней, закутанныхъ въ твии черныя, какъ среди постоянно разверзаемыхъ зеркальныхъ дверей ресторановъ, въ угаръ табачнаго дыма, острыхъ благовоній и алкоголическихъ фантасмагорій, передъ Никудимовымъ проносятся видьнія танцора и танцорки! Это предвльныя устремленія посль-военной жизни цьлаго народа, это жажда, чалніе, пріятной, смрадной наготы мужского ума и все большей обнаженности женскаго тыла. Безстыжество и великольпіе! Экстазь и смутная услада поруганія уже не-нужныхъ чистыхъ истоковъ рожденія, любви и смерти. Это последнее оправданіе жизни, ставшей нельпой, сладостной, злобной, — какъ наша похоть. Это оно — разумный, все и всъхъ прозръвшій хищникъ и разрушитель! Онъ скроменъ, онъ смиренно затаился. Онъ умница, ничемъ не смущенный и всегда, во всякомъ случай, сознающій свою правоту. А она — чувственная простушка! Но не Венера, радостно-обнаженная! А Саломея... Сейчась она потребуеть голову Крестителя!...

Но Никудимовъ все еще цвпляется за свое лвссное вдохновеніе, и даже въ этомъ фатальномъ шествіи пьяницъ, альфонсовъ, темныхъ двльцовъ, распутниковъ и блудницъ, онъ ищетъ волшебныхъ отраженій и интимной музыки, той милой мистеріи, которая давнымъ-давно, въ раннемъ двтствв, разыгралась въ его сердцв; тогда у него была русская книжка для двтей младшаго возраста, а въ ней картинка съ пояснительной надписью: иностранный городг!... Однако, онъ утомленъ чрезвычайно. И его усталая мысль, распираемая и пресыщенная прелестями чужой жизни, незамвтно, тихонько возвращается къ Россіи. Онъ вспоминаетъ Москву, ту — старую — бывалую...

Онъ помнитъ московские лътние дни... Онъ помнить пыльныя тумбы вдоль улиць, — кривыя, задумчивыя тумбы, ни на что не похожія! Й дребезжаніе домовых тельгь по булыжнику мостовой! И запахъ рыбы и дегтя вокругъ вокзаловъ и рынковъ! И всю эту послъобъденную большую московскую скуку, когда, среди бъла-дня, вся Москва. даже та, которая какъ-будто бодрствуеть и движется, — глубоко погружается въ забвеніе, въ сонъ, въ небытіе. Идешь, съ понурой головой, гдів-нибудь далеко, за Басманной, за Разгуляемъ, и сворачиваешь въ тихій, пустой переулокъ! Смотришь, — ни души, а передъ тобой — пригорокъ, и тележка съ поклажей ползкомъ одолъваеть эту ничтожную городскую кручу; возчикъ сълъ бокомъ, поводья опустиль, на лошаденку не смотрить, — можеть-быть, и заснулъ! И въдь казалось-же ему, Никудимову, еще тогда, что эта русская телъжка есть только бльдное атмосферическое отражение другой насто-

ящей тележки, на самомъ деле продвигающейся впередъ, въ далекой, невъдомой, но реальной странв! Но тогда онъ думаль, что такая призрачность Россіи, такое ея невещественное бытіе — есть только знакъ особой Божьей благодати, ниспосланный, какъ лучшая посула, какъ высшее предзнаменованіе грядущей безплотной побъды для «жизни будущаго въка». И сердце опрокидывало внъшнюю, видимую логику вещей и явленій, и въ самой не-вешественности Россіи, во всёхъ этихъ серыхъ призракахъ, безцъльно и шатко бродящихъ по ея земль, угадывало единственно-подлинное, дъйствительное, не преходящее, не тлѣнное, но вѣчное бытіе человъка и вселенной. А теперь — онъ ничего не знаеть! И только страшится этого, на его-же глазахъ догоръвшаго броженія плоти человъческой, и смутно понимаетъ еще горячую, но уже завершенную текучесть жизни....

Итакъ, — онъ ничего не знаетъ! Однако, иногда онъ длительно упивается ядомъ какого-то гордаго торжества и слепого успокоенія. Даже при воспоминаніи объ Андрев Трофимычв, — когда его потянеть помолиться! Даже на порогв храма, — гдв душа человъка вздрагиваеть въ послъднемъ, безпокровномъ, обнаженномъ отъ всякихъ житейскихъ путь, испытаній, — онъ вспоминаеть московскій пустырь, тяжелый осенній закать... И медленно, ползучей, раскаленной твердью, — сгущается и каменъетъ въ немъ недоумъніе, всегда одинаково гложущее мозгъ и сердце, всегда все то же... Великихъ закатовъ, ликующихъ восходовъ — Солнце встаетъ и уходить близко! И пыльныя дороги никуда не ведутъ... Спаяны во-едино частицы раскаленной тверди. Вотъ холодъ въчный, воть забвеніе! Искомое чудо, давно желанное, насыщенное древней тяжестью — и новой жаждой, неутолимой!

пустота... Странно!... Страшно!... Онъ ничего не знаеть! Ничего!...

Только въ этомъ сознаніи своего безсильнаго невыдыны, неодолимаго никакимы упорствомы разума, опъ и черпаетъ силы для малыхъ, — какъ пепель, невърныхъ и шаткихъ, — дъль своей жизни, а порою, и для большого упованія, которое поднимается въ немъ, какъ мельчайшая капля воздуха со дна глубокаго колодца, — поднимается, вздыхаетъ, сверкнетъ въ огнъ вездъсущаго свътила, рвется къ просторамъ дальнимъ и невидимымъ и внезанно, всей всеобъемлющей малостью своей, развергаетъ и постигаетъ и мірозданіе и Творца. Тогда изъ-за ръзкаго поворота всей его жизни, изъ тумана оставленнаго позади русскаго бытія, выходить поступью неровной и медленно грядеть мимо него — Андрей Трофимычъ... Онъ несеть свою высокую косу. Онъ сгибается низко и, снова, упорно прямится. Опять, — какъ тогда, — голова его уходить въ небо. Онъ несеть свою высокую и тяжелую ношу. Въ раздробленномъ пламени его глазъ вся жизнь, весь міръ, весь сущій Богъ! Онъ несеть свой высокій и тяжелый Кресть.

Парижъ, февраль, 1925.

#### ВЪРУНЯ НА КУХНЪ.

(Вмѣсто пасхальнаго разсказа).

1.

### простая быль.

Въ одномъ изъ Ирининскихъ переулковъ, въ Москвъ, въ деревянномъ домъ, гдъ жизнь была разрушена такъ называемой октябрьской революціей, жила девушка-подростокъ. Ее звали Верой. Но родные и знакомые, любившіе ее, (а не любившихъ, кажется, и не было) всегда называли ее Въруней... Я не сразу полюбилъ это имя. Для меня, для моего воспоминанія о ней, одно лишь «Вѣ» — стройно и прекрасно. Но глубокое. рѣзкое «ру» и разслабляющее носовое «ня», въ своемъ хрушкомъ и скользкомъ сочетаніи, безсильны воплотить простой и героическій образъ дівушки былой Россіи. Но въ этомъ имени, созданномъ любовью и лаской, есть древняя певучесть и тяжкость, смягченная шаткимъ умиленіемъ. И, можетъ быть, въ немъ правда, незатъйливая правда жизни. Постепенно я сталь къ нему привыкать, носить его въ себъ, кръпко запечатлъннымъ въ сердцъ. И, наконецъ, полюбилъ его. А теперь я не въ силахъ ничего измѣнить.

Какъ она жила? Въ чемъ проходила ея жизнь?

Ея жизнь проходила на кухнѣ. Она работала — на себя и на другихъ. Больше всего на другихъ.

Въ сельмомъ часу, еще до восхода солнца, утрешняя работа Въруни бывала закончена. Полъ, — на кухнъ и въ прихожей, — загрязненный, какъ всегда, сапогами жильцовъ-латышей, начисто вымыть. Картошка — очищена, омыта и сварена; плита, кастрюли и посуда — блествли! Въ это зимнее предразсвътное время всъ въ домъ еще спали, а изъ комнатъ латышей въ кухню доносился ихъ тяжелый, разнотонный храпъ. Они занимали почти весь домъ; внизу — бывшую гостиную, бывшую дътскую — ея, Върунину — и двъ комнаты верхняго этажа; а «папочка съ мамусей» жили въ третьей комнать верха, въ опустышей комнать Николая, жили — теперь уже поневолъ вмъстъ, примиренные, молчаливые, въ этой загадочной «лабораторіи» исчезнувшаго сына, въ этой самой, теперь такой печальной «кають капитана Гранта»... Лабораторія... каюта капитана Гранта... — поблеклые отзвуки и тени недавняго, но такого далекаго прошлаго!

Бъруня торопливо заканчивала свою работу при трепыхавшемъ свътъ крохотной лампочки-коптилки, собственноручно смастеренной братомъ Николаемъ, незадолго до его ареста и исчезновенія. Затъмъ она изготовляла, изъ старыхъ газетъ, пакетики съ ёдой и писала на нихъ нъжныя слова: «для папочки», «для мамуси» и еще для разныхъ другихъ лицъ, знакомыхъ и мало-знакомыхъ, уродливыхъ и присноблаженныхъ странниковъ тъхъ дней, бродившихъ по улицамъ, заходившихъ въ чужіе дворы — и находившихъ картошку, корку хлъба, а иногда и ночлегъ на кухнѣ у Въруни. Потомъ она торопливо накидывала на себя шубку, торопливо и нервно крестилась,

покидала спящій домъ и бѣжала по полутемнымъ улицамъ на другой конецъ города. Здѣсь она служила — въ «районномъ бюро по регистраціи продовольственныхъ карточекъ».

Работа была не трудная. Подсчеть и записи по графамь. И очень большая скука, и говорить не-охота — съ товарками или съ мужчинами-сослуживцами! Не-охота — да и боязно! Иной — изъ какой-то комъячейки — послушаетъ-послушаетъ тебя, а потомъ такъ мрачно заглянетъ въ глаза, что (какъ говорила сама Въруня) «такъ тебя въ дрожиментъ и ударитъ».

Быль среди этихъ служащихъ высокій юноша. съ очень длинными руками, свътловолосый и съ рябымъ, глубоко изрытымъ осной лицомъ; глаза у него были прозрачные, неподвижные. Онъ быль портного, и когда-то, очень жиль въ подвалѣ каменнаго дома, по-сосъдству съ Въруней. Онъ даже и въ гостяхъ валь у нея и Николая — лъть десять тому назадъ, на Рождествъ, когда отецъ Въруни созвалъ дворовыхъ дътей на елку. Тогда то, въроятно, зародилась въ немъ нежность - горькая, какъ полынь — и непримиримая вражда. Онъ помниль Вфруню... Какъ то разъ, послѣ службы, онъ вызвался проводить ее до дому. А она по дорогъ призналась ему, что еще задолго до революціи, когда быль арестовань одинь изъ товарищей Николая, она полюбила эту революцію и все мечтала о заговорахъ, о конспиративныхъ квартирахъ, о бомбахъ, приносимыхъ подъ полою... но, только, чтобы все это было «за царя» и «противъ» таинственныхъ негодяевъ въ маскахъ! Съ техъ норь, послъ этого разговора, ей становилось жутко, когда этотъ высокій юноша съ прозрачными глазами пожималь ея руку. А у него рука всегда была потная, скользкая, холодная. Онъ быль коммунистомъ.

Жутко, да! Но она не боялась его. Страха въ ней не было никогда. Ничего и никого она не страшилась.

Какой же страхъ, — когда и въ самые страшные дни, среди голода и убійствъ, ей снились веселые сны... Разсказывала она:

— Мић снилось, что я лилипуть и попала въ плѣнъ къ какому-то Чингисъ-хану. Тутъ меня схватили и посадили къ нему на пузо. Сначала все пло хорошо. Онъ только хохоталъ и щекоталъ меня. Но потомъ мы стали бороться, и я чувствую, что перевѣсъ на моей сторонѣ. Вдругъ, пузо его осѣло, какъ вода, и я одолѣла!

А за ночной работой съ иглой, когда глаза ея смыкались отъ усталости и она засыпала сидя, ей снилось, что она — мережка и что ею отдёлываютъ — или, какъ пестрядью, вышивають огромныя полотнища, горящія веселыми узорами утрешнихъ зорь, великимъ восходнымъ заревомъ небесныхъ далей.

Какой же страхъ, — когда она не испытывала подлиннаго страха даже тогда, когда говорила: «Вотъ страшно-то!». А неръдко она восклицала такъ, думая объ этихъ блъдныхъ бродягахъ, заходившихъ на кухню за коркой хлъба. Тутъ были разные. Знакомые — и незнакомые. Молчаливые — и безъ умолку болтавшіе. Иные показывали ей оружіе и много говорили о томъ, что они отомстятъ, прольютъ проклятую кровь, убъютъ! «Вотъ страшно-то!», восклицала она, но не пугалась нисколько. Другіе молились громкимъ голосомъ, изступленно кричали, бредили Богомъ, и кланялись ей въ ноги, стукая головой о полъ. «Вотъ страшно-то!», — восклицала она, но жалъла такихъ людей еще больше другихъ и все придумывала, чъмъ бы ихъ под-

кормить. Случилось какъ-то, напаль было на нее страхъ — изъ-за одного стихотворенія. Читаль свое произведеніе знакомый сочинитель. Думаль онъ тронуть ее своимъ давнишнимъ ребячьимъ творчествомъ. Хотъль угодить и ей, и себъ. Начиналось стихотвореніе такъ:

«Я бродиль по улицамь, убогій, Было холодно и скучно мнѣ, Рядомь шель мальчишка босоногій, Пятачокъ просиль подать къ зимѣ. Холодно ему — и страшно, Страшно жить средн большихъ домовъ...»

Но туть и Вѣрунѣ стало страшно. И она прервала повта... Онъ хотѣлъ въ трагически-ровныхъ строфахъ (ровныхъ, какъ похоронный маршъ!) разсказать ей о ночныхъ огняхъ Большого Театра въ Москвѣ, гдѣ происходитъ балъ-маскарадъ; а онъ, юный, но уже граждански-доблестный («убогій»!) повтъ — скромно проходитъ мимо и размышляетъ о преступной роскоши большихъ городовъ и о бѣдности, которая ютится рядомъ. Все это было трогательно! Все это было по Некрасову! А она прерываетъ его:

— Дали вы этому мальчику пятакь? Поэть взмолился:

— Въра Дмитріевна, такъ нельзя! Слушайте, слушайте...

Но она настаивала на немедленномъ отвътъ. И какъ онъ ни былъ увлеченъ своими доводами въ пользу дальнъйшаго чтенія, но пришлось ему... заглянуть въ ея глаза. И тогда онъ осъкся, замолчалъ, подумалъ — и сказалъ:

— По улицамъ мальчишка шелъ, Морозъ пробралъ его жестоко. А я тамъ былъ. Въ мгновенье ока Я далъ ему пятакъ И тотчасъ отошелъ. А стихотвореніе онъ разорваль.

Страхъ, — вдали, гдѣ темнота и неизвѣстность! А у нея жизнь была подъ рукой. Но страхъ передъ людьми есть также возданіе за нашу злобу, хотя бы и только возможную. А она не умѣла ненавидѣть. Ея чувства скользили, не колебля большой глубины, но радостно играючи, какъ быстрая струя рѣчной зыби вослѣдъ за парусной лодкой, бѣгущей въ солнечный день, подъ легкимъ вѣтромъ! И однажды, когда мимо нея, въ веселомъ сверканіи штыковъ и красныхъ тряпокъ, громоподобно пронесся тяжелый грузовикъ, гремѣвшій криками, свистомъ и улюлюканьемъ, она долго глядѣла ему вослѣдъ, а потомъ потупилась и тихо спросила... Сѣрымъ стало лицо ея спутника, когда онъ услышалъ эти слова:

— Скажите, не слишкомъ-ли мы строги къ большевикамъ?

Что дѣлать! Захотѣлось на мгновенье и ей, вмѣстѣ съ веселыми ребятами, лихо помчаться, помахать флажкомъ, покричать и даже посвистать... Еще въ раннемъ дѣтствѣ, въ театрѣ, она — вмѣсто «браво» — какъ-то закричала: «ура-а!».

### II.

# продолжение простой были

«Районное бюро по регистраціи продовольственныхъ карточекъ» было расположено въ домѣ казненнаго человѣка. Онъ былъ казненъ за богатство. Кухня въ его квартирѣ помѣщалась отдѣльно отъ прочихъ комнатъ, въ концѣ длиннаго и темнаго коридора. А окно кухни выходило на глухую бѣлую стѣну, по которой, въ эту зимнюю пору, вились голые прутья дикаго винограда и хмѣля. Сюда Вѣруня приходила во время обѣденнаго перерыва.

Завсь она събдала принесенный изъ дому холодный картофель съ солью. Пока вла, сбрасывала шкурки картофеля въ раковину подъ кухоннымъ краномъ; но покончивъ съ вдой, собирала ихъ въ газетную бумагу и бросала въ помойное ведро, а самую раковину, по привычкъ, подчищала и обмывала. А затемъ, умывши руки, она садилась на подоконникъ и, глядя на бълую стъну и на голые прутья, надломанные, безсильно повисшіе, предавалась размышленіямъ — и тихонько, сама съ собой, горевала о прежней жизни... Дома ее поджидала обычная вечерняя работа и уходъ за ослабъвшими отцомъ и матерью... Они не покидали своей комнаты, не двигались... Какъ-это они протянуть эту зиму! Картошка-то, въдь — на исходъ! И нельзя теперь, — какъ это бывало летомъ, по воскресеньямъ, — съ утра собраться за Сокольники или за Марьину Рощу, чтобы тамъ самой нарыть и на себъ принести въ городъ эту картошку... Вотъ горе-то!...

Въ прежней жизни больше всего она любила катанье на конькахъ. Любила и конфекты, сладости... Она была гонщицей въ гимназическихъ завздахъ. брала призы. Когда мчишься прямо и быстро, то тягаешься съ вътромъ и чувствуешь себя сильнъйшей! А на поворотахъ захватываеть духъ, но нужны осторожность, ловкость, выдержка, и тогда скакнешь на следующую прямую однимъ ударомъ ноги, однимъ броскомъ, — точно по воздуху скакнешь! Но теперь пруды на бульварахъ занесло сивгомъ, фонари вокругъ нихъ не горять, теплушки заброшены, и какъ-то вечеромъ, когда она проходила мимо, въ самой серединъ пруда, въ порывъ вътра, поднялся высокій бълый столбъ, похожій на привиденіе въ саване... Где-то на чердаке ржавеють теперь ея «снъгурочки»... И конфекты — тоже исчезли! Выдають разъ въ три мъсяца, по осьмушкћ! Неужели-же они такіе жадные, эти большевики?! Убивають людей, — а живымъ ничего не дають?...

И воть, однажды, когда жителямъ столицы выдавались конфекты, Въруня взяла по карточкамъ для себя, для отца и для матери. Свою порцію она събла по дорогъ, идучи домой. Събла также одну карамельку изъ отцовской порціи и одну — изъ материнской. «Ничего, — грустно и сурово подумала она, — ничего, обойдутся! Имъ вредно... при сидячемъ образъ жизпи!» Но на слъдующій день, въ бюро, всв служащіе, и дамы, и мужчины, напропалую сосали карамельки — и Въруня затосковала. А въ ящикъ ея стола лежали карточки, недавнолишь сданныя владельцами, по случаю предстоящаго выззда изъ Москвы: приносили какіе-то робкіе люди, — такъ полагалось «по декрету». А на карточкахъ этихъ были не-использованные купоны на конфекты: можно было снести карточки въ лавку, получить конфекты, и положить обратно въ ящикъ...

Въ объденный перерывъ она прошла на кухню, закусила — и затосковала еще больше. Она возвратилась въ пустую комнату бюро, достала изъ ящика три карточки съ не-отръзанными купонами, поглядъла на нихъ сосредоточенно, строго, а потомъ сунула ихъ къ себъ подъ корсажъ, за лификъ. «Тото, — подумала она, опять ръшительно и грустно, — то-то! Мы еще потягаемся, господа!» И тотъчасъ-же въ сосъдней комнатъ загремълъ стулъ — и на широкомъ бездверномъ порогъ появился высокій юноша съ длинными руками. Онъ ничего не сказалъ ей, прошелъ мимо нея, съ опущенной головой, одълся въ передней и вышелъ на улицу. А она-то думала, что никого не было, что никто ничего не видълъ! Сердце въ ней заныло. Какая-то

острая тинь скользнула передъ ся глазами, и пах-

нуло на нее холодомъ погреба...

Это было зимою 1918-го года. Въ тъ дни еще дъйствовали такъ-называемыя районныя или участковыя чрезвычайныя комиссіи, — хотя онъ считались «упраздненными» какимъ-то декретомъ... И не прошло и часа, — служащіе бюро только-что собрались на работу, былъ среди нихъ и сынъ портного, рябой, — какъ въ комнату, гдъ сидъла Въруня, торопливо и легко вошелъ человъкъ съ дымными глазами, одътый въ кожаную куртку, комиссаръ, а съ нимъ — три красноармейца съ винтовками. Войдя, комиссаръ поискалъ глазами сына портного. Тотъ тотчасъ-же всталъ, подошелъ, сказалъ:

#### — Вотъ эта!

Его нижняя губа разслабленно отвисла. Онъ не глядъть на Въруню, но указывать на нее пальцемъ. Комиссаръ спросить сорвавшимся голосомъ:

- Вы что-то украли?
- Нътъ! ръшительно сказала она. Я ничего не украла!

Комиссаръ взглянулъ на сына портного. Тотъ грустно и утвердительно поникъ головой. Тогда комиссаръ сказалъ:

- Я долженъ буду васъ обыскать.
- Ищите! сказала она, становясь все болъе красной.

Красноармейцы подошли къ ней. Одинъ изъ нихъ, необычайно худой и желтый, въ длинной кавалерійской шинели, положилъ руку на ея плечо. Она взглянула на него... голова ея медленно закружильсь. Отъ него пахло потомъ, онъ обсасывалъ свои тонкія безкровныя губы, а лицо его было похоже на желтую маску — такую, какую надёваютъ иногда, на святкахъ, для страха. И какъ-же больно

онъ стиснулъ ея плечо, — неужели такъ надо?! А комиссаръ еще разъ спросилъ: — «Вы взяли?»

- Я взяла! крикнула она, вскакивая со стула, какъ-то смѣшно разводя руками и присѣдая, точно танцуя дѣтскую кадриль. И одновременно и слезы, и горячіе лучи улыбки затопили ея глаза.
- Вотъ онѣ! кричала она, задыхаясь и передавая комиссару карточки. Вотъ онѣ! Всего три осьмушечки!

Комиссаръ снова взглянулъ на сына портного, отошедшаго къ своему столу. Тотъ сидълъ, низко опустивъ голову на грудь, глубоко погруженный въ свою печальную грезу. Казалось, — свершались передъ нимъ какія-то давно взлелъянныя чаянія, и вотъ онъ встръчаетъ ихъ великой печалью...

— Пойдемте! — сказалъ комиссаръ. Его голосъ нѣжно попизился, а дымные глаза странно посвѣтлѣли.

Она сразу-же бросилась въ переднюю, схватилась за шубку. Но комиссаръ сказалъ: — «Сюда!», указывая на коридоръ, ведшій на кухню, и отнялъ у нея шубку:

## — Не безпокойтесь!

И она побъжала по коридору впереди всъхъ, бой-кая, вольная, летящая, какъ вътеръ....

«Значить. — аресть! Цёлый день! Можетьбыть, больше! Отець... мать... Испугь-то для нихь какой, когда узнають! А кормиться-то какъ они будугь?! Воть горе-то! Ну, да она нажметь на этого комиссара по-своему, — и говорить ему не дасть! Разъ, два — доказано! Три осьмушечки, чепухато какая! Отца и мать кормить надо! Доказано и отпускай на волю!..

Ее убили на кухић, возлѣ раковины, на томъ

самомъ мъстъ, гдъ, нищая труженица, она ъла холодный картофель, добытый трудомъ своихъ рукъ.

Мгновенно она пыталась отбиваться. ударъ по темени ослѣпилъ ее. Какъ львенокъ она бросилась на ударившаго ее... Но какъ затопотали ея ноги, когда въ последнее мгновенье она поняла, — точно вспорхнуть хотела! Какъ закричала она: Какъ затрепетала вся, точно прочь кулакъ, порываясь малая, зажатая въ этого страха, прочь! Но люди тутъ-какътуть, взрослые, сильные, съ бородами и съ оружіемъ -- и хотять ея смерти! И смерть пришла. Сверкпула какъ молнія. Налетьла какъ тынь. Стала тучей черной. И уже выходить изъ кухни предводитель-комиссаръ, съ дымящимся револьверомъ, идуть за нимъ по коридору трое другихъ, въ картузахъ, въ гетрахъ, съ винтовками, покидаютъ домъ, сворачивають за уголь переулка и большими шагами уходять въ пустынность русской жизни...

Можно еще упомянуть о томъ, что черезъ нъсколько дней, въ газетъ, издаваемой отъ имени русскихъ рабочихъ и крестьянъ, было напечатано, что Въруня была «расстрелена» по постановленію московской чрезвычайной комиссіи за систематическое расхищеніе государственнаго имущества, являюща ося неотъемлемымъ достояніемъ всѣхъ трудящихся россійской совѣтской федеративной соціалистической республики... И еще о томъ, что подлинные русскіе рабочіе и крестьяне, узнавши объ этомъ, ровно ничего не сказали...

Скажутъ-ли когда-нибудь?

# Ш.

### немного сказки.

На небъ произошло великое смятеніе, едва узнали тамъ о кончинъ Въруни. Мгновенно легіоны

ангеловъ оторвавшись отъ предножья Престола Вседержителя, взмыли въ серебряныя пространства вселенной и устремились къ землъ — туда, гдъ Россія, и Москва — и достигли тверди, и снизились по переулку, вокругь дома, гив лежала дввушка — бездыханная — на кухив. Всв держали свътоносные мечи, всъ были строгіе ангелы. Но старшій ангель быль еще строже; онь быль грозный. И мечь его сіяль блескомь возмездія, пылаль какъ гровь. Тихимъ вътромъ, безслышнымъ трепетомъ, фронесся онъ по коридору дома. Вследъ за нимъ пронеслися другіе изъ множества, пока снаружи, въ предвлахъ переулка, и всей Москвы, и Россіи, и міра всего — на стражѣ стояли легіоны! Вошли, наполнили кухню сіяніемъ очей и крыльевъ, благоуханіемъ ликовъ, приблизились неуклонно къ умерией, поникли надъ ней... То-ли пепелъ старый, пожираемый новымъ огнемъ, то ли съмя полыни, взрываемое бурей, — скажите мнѣ, что шелестѣ-ло тогда на кухнѣ, что шелестѣло, и билось, горъло рвеніемъ непонятнымъ?  $\mathbf{q}_{\mathbf{v}}$ ! гремъла тишина, когда рдъли пламена мечей, разившія струю темень дальнихъ угловъ — и свершилось на кухит отъ Бога таинство, въ которомъ йиндокогомода трепеть грядущаго боя за жизнь въчную. Тогда старшій опустиль свой мечь, горящій, въ капли Въруниной крови на полу. Остръе запылалъ мечъ, грознъе сталъ ликъ старшаго ангела. И взяли они убитую, взяли ее, какъ живую Божью душу. средь этрогихъ думъ, въ грозъ застывшаго мгновенья. Затёмъ покинули землю и, большими ударами крыльевъ постигая пространства вселенной, понесли Въруню къ Богу...

Тогда увидъла она безбрежную воздушную пустынь, океанъ туманностей, хаосъ эфирныхъ ткапей и эгней блуждающихъ средь тихихъ звяканій безплотныхъ колокольцевъ. «Что это?» — подумала она. Вдругъ — свътъ! Вдругъ — гусли и свиръли! Вдругъ — гармонія... благоговъніе... покой! «Что это?» — опять подумала она. Тогда увидъла она Бъльй Свъть, Смотрящій на нее. И поняла — и испугалась. И такъ какъ была она, отъ природы, простодушной, но въ такомъ своемъ простодушіи — хитрой, то, тогчасъ-же вспомнивъ о купонахъ на конфекты, ръшила пока объ этомъ умолчать, но посиътила сказать о другомъ... (На тайныхъ подступахъ къ желанному предълу я подслушалъ ея дътскія и въчныя слова).

- Господи, сказала она, они меня били! И хотъла показать на свою голову и плечи въ крови.
- Я энаю! сказаль ей Самь Інсусь Христось, Господь нашь, ибо это быль Онь! И Онь положиль Свою руку на ел глаза.

Что туть дальше было, никто не дерзаеть знать. Ибо здёсь раздается невёдомый всплескъ и въ сказке, и въ молитве незримаго бытія. Но при одномъ номышленіи объ втомъ невёдомомъ, — тамъ, въ Москве, узнавши о смерти Вёруни, — изъ дали думъ, прочь отъ земли меня унесшихъ, я увидёлъ эту землю — горёвшую, какъ вспыхнувшая угольная пыль... и небо, какъ огненный шаръ, дыбилось, лопалось, стенало, и некуда было уйти отъ огня; а строгіе ангелы, налетёвшіе какъ вихрь, въ невыносимомъ сіяніи очей и крыльевъ, въ огнё мечей, гнали родъ человёческій въ бездну ужасную; а отъ ужаса такого не было голоса даже у тёхъ, кто хогели кричать: Горе!.. Горе!..

Парижъ, 1926 г.

### СЛУЧАЙ НА ФРОНТЪ

I.

Это произошло весною 1916-го года, на фронтѣ; 8 или 9 апрѣля, въ лѣсу Виленской губерніи, Свенцянскаго уѣзда, верстахъ въ двадцати отъ мѣстечкз Поставы, гдѣ въ тѣ дни проходили русскія передзвыя позиціи. То, что я здѣсь видѣлъ, тогда поразило меня, какъ чудо.

Я бхаль на лошадяхь въ направлении мъстности, называемой «Волки», бывшей въ то время станціей узкоколейной жельзной дороги перешитой на широкую). Въ пяти-шести верстахъ отъ Поставъ, близъ станціи, въ деревнъ Монченята, я должень быль заночевать въ строительномъ отрядь, а на утро, вмысть съ начальникомъ отряда н группой саперовъ, добраться и до Поставъ... Весенняя распутица и безпрерывные дожди превратили проважую дорогу въ сплошную мъшанину топкой грязи; мъстами представлялось почти невозможнымъ выбраться изъ этого болота. брюхо увязали въ грязи, отбивая себъ ноги, по н выбивались изъ силъ, выкарабкиваясь изъ рытвинъ, наталкиваясь на ухабы. Солдатъ-вознипа. то и дёло, слёзаль съ повозки и крикомъ и понуканіями подгоняль лошадей. — Воть, какъ попацемъ въ 9-вонъ лъсокъ, — сказалъ онъ мнъ, — и пробдемъ одно мъсто, то ужъ тамъ дальше дорога

полегчаеть. Да только мъсто такое... — онъ неодобрительно и недовърчиво мотнулъ головой — у-у, проклятое!

Но когда мы углубились въ лѣсъ и приближались г. тому мѣсту, которое солдать назвалъ проклятымъ, до нашего слуха стали доноситься раскаты, гулъ человъческихъ голосовъ. Мы прислушались. Ърики раздавались неумолчно и разносились далеко, по всему лѣсу... Я узналъ эти крики. Сколько разъ, раньше и позже, я слышалъ ихъ — и до сихъ коръ, повторяясь въ памяти, они томятъ-томятъ мою душу! То были надрывные крики русскаго фронта, — крики, вопли, тяжкіе стоны народа, грудью навалившагося на кокое-нибудь препятствіе въ мертвой природѣ и въ мучительномъ и неуклюжемъ напряженіи мышцъ, энергіи, воли, одолѣвающаго и собственную склонность къ покою и къ лѣни, и упрямую неподвижность міра бездушнаго...

— Значить, утопли! — сказаль мой солдать, и губы его дрогнули въ едва замътной улыбкъ: печаль ли въ ней, или насмъшка — разобрать невозможно. — Ну, теперь — намъ подождать!...

Мы подъёхали ближе... Сначала увидаль я — лошадей, по-двё и по-три, пять или шесть упряжекь цугомь. Но воть и они, люди...

Быть можеть, ихъ и не было такъ много: тридцать, сорокъ, самое большое — пятьдесятъ человъкъ! Солдаты, одътые въ старые картузы и шинели неопредъленнаго цвъта выжженной травы и песковъ прифронтовой полосы. Но они какъ бы множились отъ необычайнаго смятенія, царившаго среди вихъ, отъ суеты, отъ тревоги, заставлявшей ихъ судорожно бросаться изъ стороны въ сторону; и въ первый моменть, когда я только глянулъ, мнъ показалось, что ихъ — великое множество. Они копошились вокругъ лошадей, но болъе всего — вокругъ желъзнаго чудовища, огромнаго артиллерій-

скаго орудія, увязшаго колесами въ топкую грязь пороги. И люди, и кони выбивались изъ силъ, мучительно надрывались, пытаясь сдвинуть съ мъста жельзо, вонзившееся въ землю. Кони — то растягивались гуськомъ, въ нъсколько рядовъ, низко осъдая задомъ, то поворачивались бокомъ къ орудію, скосивь глаза и вздрагивая всемь теломь, то какьто обезсиленно вздымались на дыбы, точно пытаясь оторваться оть земли, а то, вдругь, - когда рвались ремни, лопалась упряжь, — они шарахались въ разныя стороны, вразсыпную, или безпорядочно сбивались въ кучу и ржали, взвизгивали, били одна другую копытомъ. А люди барахтались въ грязи, суетились, бъгали, ругались неистово — и кричали, обращаясь и къ лошадямъ, и къ самимъ себъ: — Иније! Инијо! Иније-хе-инјо!... Ноно-нооо!... Аааээтттааа!... Иниіе... Беринись! Рааазомъ! Ааанинуу!... И навалившись грудью, всемъ теломъ, на колеса орудія и на самое пушечное жерло, они давили изо всъхъ силъ, надрывались тшетно, изнемогали...

Это продождалось утомительно долго. Я прождаль и часъ, и два. Погода стояда печальная, смутная, накрапываль мелкій дождь; надвигался вечерь. Мнё становилось холодно. Я вздрагиваль. И снова лопалась упряжь, снова сгоняли лошадей и перепрягали. И снова, и кони и люди барахтались въ грязи, разбёгались, искали другь друга, сбивались въ кучу, и опять судорожно бились надътёмь же кускомъ желёза, на одномъ и томъ-же мёстё. И снова не смолкали все тё-же надрывные крики, полные звёринаго возмущенія и горькой жалобы человёка: — Иниіе! Иниіо! Иниіе-хе-ниіо! Аааээттааа!...

Я ждаль... Объёхать стороною, изъ-за болотной топи и канавъ, было невозможно. И солдатъ мой, возница, смёшался съ толною и болёе не показывался. Пробовалъ и я присоединиться къ усиліямъ толны. Добирался, шлепая по грязи, до орудія, нащупывалъ точку опоры на жерлё и пытался нажимать, давить. И тогда я чувствоваль безжизненное, неумолимое, какъ смерть, сопротивленіе желёза.

И воть мив показалось... итть, я почувствоваль, я поняль безнадежность дальнейшихъ усилій. Казалось, эти люди сцепились въ мертвой схватке съ инертпостью міра — и въ этой неравной борьбъ губили свои силы впустую, изнемогали безсмысленно. И воть, я не понималь ни ихъ настойчивости, ны ихъ терпънія. Тревога, отчаяніе и, наконецъ, злоба овланали мною. Идіотизмъ (такъ и говориль себѣ) этого ушедшаго въ землю орудія, этихъ воющих: люлей и моего собственного положенія — быль слишкомъ очевиденъ и приводилъ меня въ бъщенство. Необходимо было что-нибудь предпринять. Отойдя въ сторону, я искаль глазами моего солдата, рышившись все таки понытаться объехать, пробраться впередъ другой дорогой — или, наконець, поворотить назадъ.

И когда я такъ озирался, съ холодомъ отчаянія въ сердцѣ, я увидѣлъ пожилого человѣка, подомеднило къ толив солдать. Не знаю, прошель ли онъ мимо меня по дорогѣ, и я въ волненіи не замѣтиль его, пришель ли онъ съ другой стороны, или вышель изъ лѣсу. На видъ ему было лѣтъ шестьдесять, изъ подъ шапки выбивались сѣдые волосы, — но тѣломъ онъ быль крѣпокъ, широкъ въ кости, и держался бодро, солидно. У него было обычное, скуластое русское лицо и небольшіе гла-

ва, слегка сощуренные и смотрѣвшіе спокойно. но настойчиво, на людей, на лошадей, на пушку и на все, что здъсь происходило. Не думаю, что-бы онъ быль духовнаго званія. Одежда на немъ была простая, вольная, армякъ безъ пояса, — и только шапка, сделанная изъ неопределенной матеріи и, какъ мнъ показалось, остроконечная, могла напомнить монашескую скуфью. Не знаю, — не владъвшее ли мною острое отчаяние вызвало во мив странную мысль, подсказало мит какую-то экзальтированную увъренность, что этотъ человъкъ сдвинеть съ мъста пушку, и что сделаеть онь это какимъ-то чрезвычайно простымъ «техническимъ» указаніемъ, точнымъ дъловымъ распоряжениемъ. Въ моихъ мысляхъ мелькали даже — Богь въсть, почему — какія то нельныя, ребяческія, быть-можеть и бредовыя догадки — о томъ, что этотъ человъкъ — техникъ, инженеръ, путеецъ, «спеціалисть по перевозкъ пушекъ», и что онъ только, воть, откроеть роть и скажетъ... Этотъ пришлый, посторонній человікъ, обводившій такимъ пристальнымъ взглядомъ все происходищее, привлекъ не только мое вниманіе. солдагы, въ это время оторвавшіеся отъ своей муки, косились на него, поглядывали на него какъ-то выжидательно. Я решиль, что и они чувствують то же. что и я, и ждуть того же оть пришельца. Экзальтированная уверенность въ томъ, что этотъ человъкъ поможеть — возросла во мнъ, произила меня. Я не отрываль глазь оть его рта, я ждаль... Воть зашевелятся губы, онъ скажеть: — колеса... лошалей... ремешки... винтики... гайки...

И опъ сказалъ. Онъ сказалъ ласково, но твердо, бодро. Онъ сказалъ:

— Богъ помощь, родимые!

Въ отвъть ему изъ толны солдать послышался смъхъ. Но смъялись не зло, — а признательно, по-

доброму. И съ той же легкой и признательной насмъпкой въ голосъ, иные изъ солдатъ крикнули:

— Спасибо отецъ!

А затвиъ...

— Иније! Инијо! Иније-хе-инјо! Азареттаза!..

И вдругъ... — я не върилъ глазамъ, ушамъ своимъ, а сердце во мнъ остановилось — ....раздался лязгъ, трескъ, хрястъ, кони заерзали, забились, люди закричали еще сильнъе, всъ разомъ, закричали ужасно... — и желъзное чудовище, вздрогнувъ всъмъ тъломъ, выпрямилось и поползло.

...Я пришель въ себя послѣ громкаго оклика моего солдата, подавшаго повозку по ту сторону дорожной трясины.

Варшава, 1920 г.

### «АГИТПУНКТЪ»

T.

Однажды, въ Козловъ, — Господь и Богъ мой, это было 25-го іюня 1919-го года, — я видёль русскихъ рабочихъ, настоящихъ, подлинныхъ, въ плоти и крови — и потерявшихъ плоть и кровь, и ставшихъ бледными тенями самихъ себя. гримаса страстей, имъ органически чуждыхъ, искажала ихъ сърыя безкровныя лица; въ пустыхъ глазахъ застыла покоренная стихія, и только изръдка, на самомъ днъ ихъ, вспыхивали слабыя искры безвольнаго стыда и последней муки. На нихъ были надъты шутовские головные уборы. На нихъ, рабочихъ, настоящихъ, подлинныхъ, были падъты сдъланные изъ чернаго коленкора бутафорскіе картузики революціонныхъ «увріеровъ», стилизованныхъ «пролетаріевъ», — и они выполняли комедію по безкрылому замыслу Богъ-въсть какого провинціальнаго Мейерхольда. Они были наняты для этого дёла за малую толику хлёба.

Они, рабочіе, не выдуманные, а живые, настоящіе, недовівніе, безработные, съ сврыми завострившимися лицами, съ пустыми глазами, изображали «побвдоносный пролетаріать на стражв великихъ завоеваній революціи». Такъ, неся на плечв настоящія ружья, они обходили пыльную площадь Козлова безвольнымъ и невърнымъ шагомъ зачарованных призраковъ. Ихъ освещаль и двигался за ними бледножелтый лучевой спектръ ацетиленоваго прожектора. Нъсколько мъдныхъ трубъ и барабаны визгливо оглашали темнъвшій воздухъ — ни свъть, ни тьму — звуками марша изъ «Аиды». Л съ высоты трибуны, поставленной средь площади. картавый ораторъ, съ глазами столь фальшивыми, что казалось, они у него вставные и сделаны изъ закопченаго желтаго стекла, говорилъ, обращаясь къ глазвишему народу: «Смотрите, товарищи, какъ прекрасенъ побъдоносный пролетаріать ,обходящій дозоромъ революціонную Русь!» И «Русь» звучало, какъ шипъніе жабы изъ затхлой бездны гиплого болота... Затымы, обращаясь кы державшимы ружыя и шагавшимъ, кричалъ: «Бодрѣе, товарищи, на васъ смотрить продетаріать всего міра!». Бледножелтый свыть прожектора вспыхиваль сильные, трубы, дребезжа и фальшивя, выли вразбродь, большой барабанъ стучалъ громко. Народъ молчаль и, тяжело переводя духь, смотрель. А они шагали...

Я это виделъ...

Я прівхаль въ Козловъ послів і шестисуточнаго странствованія по желізнымъ дорогамъ въ теплушкахъ, переполненныхъ красноармейцами. Я быль голоденъ и грязенъ. И двое сутокъ я жилъ на Козловскомъ вокзалів, поджидаючи пойздъ на Саратовъ.

То, что я видълъ, происходило въ самый день открытія мъстнаго «агитпункта», 25-го іюня, на маленькой городской площади передъ вокзаломъ.

Самый вокзаль, залы, коридоры, съни, ступеньки вокзальнаго крыльца и вся площадь, съ утра и весь день, заполнены людской толпой. Пробзжіе красноармейцы; странствующіе, въ поискахъ хльба, мужики и бабы; и бывшіе люди изъ дворянь, чиновниковь и интеллигентовъ. Всё съ мёшками, съ котомками, съ самодёлковыми сундуками. Не толь-

ко на вольныхъ, но и на военныхъ, вовсе не видать одежды приличной, добротной. Все — люди въ отрепьяхъ, въ дырявыхъ сапогахъ, въ рваныхъ картузахъ, въ наптяхъ; много босыхъ и простоволосыхъ. Все — люди потные, грязные, обросшіе густымъ волосомъ и разящие крипкимъ духомъ давно не мытыхъ тълъ. Всв чешутся. Многіе открыто ищуть на себъ... другь у друга. Старухи-бабы, сидя на земль, ищуть въ головахъ у лежачихъ дввокъ, ищутъ и давятъ съ большой скоростью и ловкостью костиявыхъ пальцевъ; девкамъ пріятно, и онв трутся лицомъ о грязныя юбки старухъ и тихо напавають, муряычать... Стоять люди оцепеньлые, точно въ столбнякъ, съ застывшими обезьяньими гримасами на лицахъ: и зной ихъ мутитъ, и умыться хочется, и внутри все такъ непонятно, и пусто, и дико, и тяжко... Иные сидять — на вещахъ, на срубъ и доскахъ, оставшихся на площади после ностановки трибуны, на ступенькахъ вокзальнаго крыльца, а то и просто на землю, - и спины согнулись дугой, и головы глубоко ушли въ плечи, безвольно свадились на бокъ: спить — не спить человъкъ, а замеръ, скованный животной усталостью и сонной пустотою мозга. А еще имые — лежать, распластавшись на земль, въ мертвецкомъ забыты наболевшаго тела и души, измотавшейся впустую. Лежать и другіе, съ восковыми лицами, съ остеклянъвшими глазами, съ прозрачными ноздрями; это перенесшіе бользнь, выздоравлявающіе; эти лежать смирненько, какъ муміи, не шелохнутся; а то есть и такіе лежачіе, которые стонуть, плачуть, зовуть Богородицу, бредять: эти больны, ихъ треплеть горячка...

Тифозныхъ много... Они и лежать, и бродять по заламъ и коридорамъ вокзала и тутъ-же на площади, одътые, иногда, въ одни больничные халаты поверхъ голаго тъла, — пробираются черезъ толиу. цепляясь за людей и, где можно, опираясь руками о ствиы. Они совжали изъ околотковъ и больбараковъ и вдуть домой, безъ бумагь, безъ пропуска, безъ денегъ. Въ горячечномъ бреду они забывають откуда они родомъ, название родныхъ деревень и куда, въ какомъ направлении имъ следуеть ехать. Въ народе ихъ жалеють, помогаоть имъ, деловито одобряють ихъ планы: «Это дедо! Повидаещься, значить...» И они садятся въ любой повадь, въ который имъ удается втиснуться, на открытую товарную платформу, на площадку, на тормозъ, на буферъ, — и вдуть, и часто катять на востокъ, когда нужно на западъ, и удаляются отъ дома все дальше и дальше. При остановкахъ, когда сердобольные люди разъяснять ошибку, или злые прогонять. — они сходять съ повзда, ждуть другого. Подчасъ ихъ ловять, — они прячутся; ихъ арестовывають, они снова бъгуть. И опять пускаются вздить всленую, и кружать такъ по Россіи п дни, и недвли, доколь не ослабьють, не свалятся съ ногъ, а то и умрутъ — въ вагонъ-ли, въ комнатъли вокзальной невъдомаго полустанка, или еще гдънибуль, далеко-далеко отъ дома.... Были здёсь, въ Козловъ, не только тифозные; были здъсь и двое больныхъ; и они лежали среди чернооспенныхъ встхъ прочихъ, здоровыхъ и хворыхъ, въ большомъ заль, въ самой толщь народной.

Цёлый день я бродиль среди этой толпы, сидёль съ ними, вель съ ними разговоръ, ёль съ ними супъ изъ общаго котелка. А къ вечеру зашипёль ацетиленовый прожекторъ, задребезжала музыка — и начался «агитпунктъ». И вскорт заттив показались они, рабочіе, старавшіеся походить на «увріеровъ», облаченные въ высокодонные картузы изъ чернаго коленкора, ни на что не похожіе, — развтолько на еврейскія шапки изъ гетто XVIII вёка.

У оратора съ фальшивыми глазами, говорившаго о коммунизмъ, кривились губы; кончикъ носа тянулся къ губамъ и ежеминутно брезгливо морщился отъ сдерживаемой, съ такимъ трудомъ, ироніи — его, оратора, къ своимъ же собственнымъ словамъ, произносимымъ для этихъ дураковъ... Онъ говоритъ торжественно — объ идеалахъ пролетарскихъ! Мелкая рябь безпрестанно набъгаеть и расплывается по его мясистому носу, губы змеятся, брезгливо оттягиваются внизъ, трепещуть; брови скачутъ. И въ этой невольной пляскъ его лица, которую онъ не въ силахъ унять, остановить, — хоть и старается упорно, — великое откровеніе: «Я — не коммунисть, не общинникъ; братство, дълежка — не моя стихія! Общество, Государство, Нація — достойны моего плевка! Я — частный собственникъ, только собственникъ! Убъжденный, страстный, неистовый... Аминь!». И воть: неистовый собственникъ, онъ не за страхъ, а за совъсть служить тъмъ, кто поднялъ изъ заслуженной грязи его похотливость и алуность и въчную безкрылую мечту о золотомъ тельцъ...

Онъ театрально поднимаетъ руку въ повелительномъ жестъ. Музыка смолкаетъ. Русскіе рабочіе, играющіе въ «рабочихъ», останавливаются. Лучевой спектръ прожектора рыщетъ по всѣмъ направленіямъ площади, освѣщаетъ окрестные уголки города, скользитъ по церковному куполу, по оградѣ и чахлымъ деревьямъ, и застываетъ, наконецъ, на экрапѣ, поставленномъ въ глубинѣ площади, шагахъ въ тридцати-сорока отъ трибуны. Съ полотна экрана глядитъ на толпу и лукаво подмигиваетъ лицо бѣглаго каторжника, профессіональнаго убійцы, умудреннаго долгимъ опытомъ успѣшнаго осмѣянія людской совѣсти и годами безнаказаннаго

воровства. Ораторъ кричить, какъ въ циркѣ капельдинеръ-актеръ, объявляющій знаменитость:

— Товарищъ Ленинъ, отепъ міровой пролетар-

ской революціи!

«Татаринъ!... Татаринъ!» — громко проносится въ толпъ. Слышенъ смъхъ мужиковъ. Бабы бормочутъ: «м-м-мда-а, ужъ!». И поджимаютъ губы. Свътъ на экранъ гаснетъ — и вспыхиваетъ вновь, показывая иной портретъ.

«...по образу и подобію Своему»... Но возможноли, Боже, чтобы человіческое лицо такъ низко пало? Гдіз же голова вдохновеннаго убійцы русскихъ? Этотъ дикій и гнусный отростокъ похотливаго тіла, безобразно разбухшій надъ шейнымъ позвонкомъ! Это голова человіка?

Ораторъ снова кричить, какъ 🐞 циркъ:

— Товарищъ Троцкій, передъ которымъ трепещеть міровая буржуазія; любимый вождь красной арміи!

«Жидъ!... Жидъ!» — тихо несется въ толив. Затвиъ, всеобщее невнятное бормотаніе, переходящее въ шопоть.

Ораторъ говоритъ, драматически понижая гогосъ:

— Товарищи, обнажимте наши головы и споемте, въ честь великихъ вождей пролетарской революціи, нашъ рабоче-крестьянскій гимнъ. Что такое этотъ гимнъ? Это пѣсня всѣхъ обездоленныхъ бѣдняковъ, всѣхъ эксплоатируемыхъ капиталомъ! Этой пѣсни не любить буржуазія. И знаете, товарищи, почему? Потому, что въ этой пѣснѣ мы торжественно утверждаемъ то...

Туть ораторъ простираеть впередъ указательный палецъ правой руки, и роскошно, и мечтательно — вверхъ и внизъ — двигаетъ бровями, мученически закрывъ глаза.

-- ... о чемъ мы мечтаемъ...

Но внезапно грозно хмурится, сжимаеть руку въ кулакъ и заканчиваеть съ большой энергіей, какъ въ ударт грома:

- ...и что будеть, товарищи!

Мъдныя трубы воють, дребезжать; ихъ звуки тонуть въ неистовомъ бряцаніи и стукъ большого барабьна. Народъ снимаеть шапки. Поють «Интернаціональ». Тяжельеть усталое сердце, насыщенное злобой...

Въ толпъ появляется и, расталкивая плечами народъ, быстро продвигается впередъ (по направленію къ вокзальному крыльцу, гдъ я стою) пожилой одкорукій человъкъ, одътый въ тошнотно-грязный черный сюртукъ корошаго заграничнаго покроя...

Огномная косолапая фигура, непокрытая съдая голова; лицо когда-то бритое, густо обросло грязной, стлой и рыжей, щетиной волосъ. На немъ нъть нижняго бълья, и нъть ни одной пуговицы, ни на сюртукъ, ни на томъ мъсть, гдъ брюки должны застеливаться. Онъ весь нараспашку, полуголый: видна грязная волосатая грудь, видны непріятныя отлельныя части его тела. Вокругь голой шеи повязанъ огромпый бантъ изъ ярко-краснаго кумача. На погахъ остатки башмаковъ со шнурками, обвязанные вокругъподошвы бичевкой. Отъ подобраннаго рукава отсутствующей руки къ петлицъ сюртука тянется, на полобіе эксельбанта, толстый пучокъ простыхъ веревокъ, спускающихся затъмъ внизъ -вдоль живота и бедеръ; къ концамъ этихъ веревокъ привязаны различные предметы: порыжвышій, весь въ дырахъ складной цилиндръ (днемъ я видълъ, кать этоть человёкь, забавляя нароль, налёваль, не отчязитая эте петлицы, пилиндръ на голову), темносиніе очки (и очки онъ надвваль днемъ, на солицв), обгрызанный кусокъ чернаго хлёба, карандашъ и еще различные бумажные сверточки... Онъ проходить чересть пореденшую, въ заднихъ рядахъ, толпу, останатливается преимущественно передъ женщинами и, непристойно подмитнувъ, предлагаетъ за «одну керепку» портретъ Троцкаго; онъ держить въ рукѣ цѣлую пачку такихъ «открытокъ». Отказывающимъ онъ ет лицо хрюкаетъ по-свиному. Къ берущимъ онъ сглоняется и шепчетъ на ухо какія-то слова. Баб-1 отталкиваютъ его, тычутъ ему въ грудь кулаками, кричатъ: «Ишь, жеребецъ сыскалси! Товарищамъ бы сказатъ, тоже!». Дѣвки переглядываются между собой.

Сивли «Интернаціональ». Ораторъ говорить о томъ, что яля окончательнаго счастья нужно уничтожить міровую буржуазію, что попы не нужны. «Что же вы думаете, что если вы пойдете въ церковь и попросите что-то у намалеванной иконы, то она вамъ это дасть? Нѣтъ, товарищи, — не Богъ, а штыкъ!» Бога и нѣтъ, и Онъ только для буржуазіи, а — «штыкъ — молодецъ, товарищи, не выдасть!».

Я бѣгу...

### Ш.

Пройдя черезъ вокзальныя сѣни, среди кучами лежащихъ на полу людей, я вхожу въ общій залъ. И туть лежать — на полу, на столахъ, на скамьяхъ: все сплошь покрыто тѣлами. Удушливая вонь ударяеть въ носъ, хватаеть за горло. Мухи носятся тучами и, несмотря на полумракъ, жужжатъ такъ громко, точно большой самоваръ гудитъ. Въ другомъ углу зала — тѣ же крики и все та же возня, которую я видѣлъ еще днемъ. Я снова слышу: «Дать ему по мордѣ два раза, — чтобы не оралъ, скотина!». Тамъ съ утра, лишь изрѣдка затихая, бъется и кричитъ припадочный больной. Онъ сквернословить и призываетъ Бога, молится и богохульствуетъ. Людямъ онъ кричитъ: «Отойдите!... Отойдите!...

Всёхъ убью!». А люди навалились на него, сидять у него на ногахъ, на рукахъ, на груди. Его унимаютъ, ласкаютъ, цёлуютъ, бьютъ по щекамъ, обливаютъ водой, дерутъ за волосы. Днемъ — я видёлъ — какая-то старуха, увёренно растолкавъ людей, окружавшихъ больного, приблизилась, плюнула ему въ глаза и произнесла идіотское заклинаніе. Теряя силы, безчувственный ко всему, и я опускаюсь на полъ, возлё входныхъ дверей; кладу подъ голову свой мёшокъ, прячу въ него лицо и, закрывъ глаза, пытаюсь забыться, уснуть...

...Я увидъль мою жену, ждавшую меня въ Саратовъ; увидълъ ее невъстой — въ Москвъ, въ церкви, подъ вънцомъ, всего лишь годъ тому назадъ, да!... Ну, а затъмъ — три недъли тому назадъ, она пробажала адъсь; значить, тоже двое сутокъ ждала потадъ, тоже лежала на этомъ зловонномъ полу, все видъла, слышала, чувствовала, все перенесла!... Неи инсикто понновопинования побыкновенной бълганы и ясности пропосились въ моемъ воображении... Я слышаль благостный звонь, я видёль серебряный свёть утренней звъзды, и синій бархать ночного пвътка, осіянный, и такъ осліпительно, лучами луны: я видълъ сказку о всъхъ ангелахъ и святыхъ, носящихъ лучистые ореолы. Горящая свётомъ даль, обвёянная ароматомъ ландышей, бълый міръ забвенія земли — благоуханно раскрывался передо мной, какъ воздаяние за земное долготерпъние. Конечно, — говорилъ я себъ, — придеть время, когда все будеть бъло, потому-что скорбящій сынъ земли смотритъ на звъзды Твои, Творецъ, и шлеть Тебъ довърчивый вопль сердца: «в'врую!». А Ты все слышишь, все видишь... Конечно, настанеть день, когда растворятся всъ двери и въ окнахъ встанутъ строгіе ангелы: такова мечта и въра человъка! Кто тогда уйдеть отъ ихъ свётоносныхъ мечей! Куда спрячуть себя люди съ фальшивыми глазами?...

8

Вдругъ, слыну — совствъ близко и тихо: «Богородица!... Богородица!»... Я подымаю голову, смотрю — и увнаю: это мой больной паренекъ красноармеецъ, лётъ пятнадцати, а то и меньше; совствъ мяльчикъ, безусый, свётлоокій. Мы тахали вмёстъ четверо сутокъ; днемъ, здёсь въ Козловт, я ходилъ за нимъ, пробовалъ кормить, отгонялъ мухъ отъ лица его. Когда я справился о причинахъ его добровольчества, онъ сказалъ: «Сказывали, велосипедъ дадутъ!». — «Что же, дали?» — «Нётъ, это которые «бескуты» — развъдчики!». А онъ попелъ на посылки при полевой телефонной службъ...

Онъ больлъ тифомъ гдь-то подъ Борисоромъ, лежаль въ баракахъ и, едва оправившись послъ кризиса, повхаль на ролину, подъ Тамбовъ. Опъ фхаль безъ одежды, безъ обуви, безъ денегъ. Деньги, вмъсть съ крестомъ, вмъсть съ чаемъ, сахаромъ, табакомъ и пахучимъ мыломъ, у него вытащили изъ-подъ подушки, въ больницъ. «Кто укралъ?» -- спозсилъ я. «Люди поворовали!» — мягго и степенно отвътиль онь. Все — все лежало поль подушкой, и все - все поворовали!... Выйдя изъ больницы, онъ продаль старые сапоги (объщелныхъ норыхъ не дождался!), гимнастерку и быюки. — купиль соли, спичекъ, свъчей, леденцов, (мать писали, это въ этомъ недохвать на дереви:), связаль все гъ узелокъ и повхалъ домой, босый, въ одной тощенькой шинелькъ поверхъ нижняго бълья. Когда я утявилзачёмъ же онъ въ такомъ видё ёдеть домой и опечалить ли это его родныхъ — онъ задумчиво сказаль: « Лома штаны есть...» — и больше ничего не отвътиль. Когда я, замъчивъ его слабость, говориль, что ему следовало еще полежати въ больниць хотя бы сапогь новых дождаться — онь сказаль, поднявь на меня глага, со слабой улыбкой: «Помереть хотится дома!».

И точно, онъ быль очень плохъ. Ни кровинки

въ прозрачномъ лицв, углы рта осунулись, точно мальчикъ кислаго повлъ; па губахъ блуждающая улыбка. А на пятыя сутки путешествія, зрісь въ Козловъ, онъ свалился и еще съ полудня сталъ отказываться отъ пищи. И воть онъ лежить илистомъ на полу, положивъ голову на свой узелокъ, въ своей шинелишкъ, босой, и смотритъ остеклянъвшими глазами въ потолокъ... Гаснуть последнія виделія живни: больница, поворованныя деньги, недоставшіеся новые сапоги, спички, леденцы... и длиннаяпредлинная жельзная дорога; а тамъ, впереди высоко-ли, далеко-ли — веленый лугь, и рачка, и хата, и мать!... Мухи облёнили его лицо, углы губъ, впадины глазъ, ноздри, — а онъ ужъ не въ силахъ отогнать ихъ: едва доволокъ руку до груди -и пальцы чуть трясутся, слабо вздрагивають въ порывахъ замирающей жизни. Онъ дважды звалъ Богородицу, но воть — замолкъ, молчитъ, затихъ...

Я понимаю: «онъ умираеть!». Я думаю, — какъ и чъмъ помочь ему? И внезапно вспоминаю красную сестру милосердія, которую видълъ днемъ въ съняхъ вокзала.

Миловидная бѣлокурая женщина, съ высокой грудью и очень бѣлымъ припухлымъ лицомъ, сидѣла на полу. Она тяжело дышала и неопредѣленно — нето смущенно, нето жалостливо, нето горделиво — улыбалась. Нижняя челюсть ея безостановочно двигалась, точно она, не переставая, жевала что-то, или глотала слюну. Голова ея была повязана черной косынкой съ большимъ краснымъ крестомъ. Рядомъ съ нею, на полу же, сидѣли трое военныхъ инструкторовъ, со значками, въ галлифэ, съ револьверами и шашками. Она доставала изъ корзиночки хлѣбъ, крутыя яйца, соль, и передавала имъ, кормя ихъ, наливая имъ чаю. Поѣвъ, они вытерли губы и тотчасъже расположились спать, причемъ всѣ трое пожела-

ли одновременно положить голову къ ней на колъни. Она запротестовала. Тогда, переглянувшись, они вступили съ ней въ странныя пререканія. Одинъ сказалъ -- мягко, но солидно и строго: «Не упрямьтесь. Капитолина Ивановна, я же говорю вамъ, не кочевряжьтесь: а то, неровень часъ, обожжетесь!». А другой: «Д-да, и — вотъ!». И онъ сильно дернулъ ее за прядь свътлыхъ волосъ, выбившихся изъ подъ косынки. А третій — курчавый и собой потонь-ше: «Ахъ, эта гордость, Капитолина Ивановна, ахъ, эта гордость!». И этотъ положилъ ей объ рукп на грудь и глянулъ ей прямо въ глаза, ласково и дерзко. Затъмъ, такъ какъ она продолжала протестовать, они всв трое одновременно, точно по сигналу, схватили ее — и смъясь, обнимая ее, выворачивая ей кисти рукъ, съ силой щипали ея ноги, бедра, грудь. Слезы показались у ней на глазахъ, челюсть дергалась разко и учащенно; но съ лица ея не сходила все та же неопредъленная улыбка, - точно она купалась въ слишкомъ холодной водъ, и ей было пріятно, и духъ захватывало, и боязно, и въ сердив кололо, и слезы подкатывали къ горлу; дышала она, дъйствительно, еще тяжелье, задыхалась... Она сдалась, наконецъ... И они всъ трое, какъ могли, размъстились у нея на колъняхъ, и всв трое обхватили руками ея талію, ея ноги. И заснули.

Мнѣ было непонятно — и немного жутко отъ всего этого. Я понялъ только, что она попалась имъ, похожая на нихъ — и, все же, не совсѣмъ такая, какъ они, — что они дружески привязались къ ней, полюбили ее, быть можетъ, и принялись смѣхомъ, пинками и щипками — такъ, чтобы было и больно, и не очень, и все же серьезно — изгонять изъ нея то, чѣмъ она отличалась отъ нихъ. Она ѣхала съ восточнато фронта, изъ-подъ Царицына. Она сказала мнѣ: «Если бы вы знали, что тамъ со мной сдѣ-

лали! — И вотъ эти, эти, эти...» — добавила она, ударяя припухлымъ кулачкомъ по головамъ спавшихъ у нея на колъняхъ. Затъмъ, помолчавъ, она сказала: «У меня острое малокровіе. Вы видите, я не могу унять моей челюсти: она у меня ходуномъ ходитъ!».

#### IV.

Я долго искаль ее съ зажженнымъ огаркомъ свъчки, въ темнотъ съней, между кучами лежавшихъ человъческихъ тълъ. Я нашелъ ее, склонился надъ ней. Блузка растегнулась на ея высокой, тяжело дышавшей груди; по ней бъжали крупныя струйки пота, оставляя на кожъ двойной грязный слъдъ. Я съ трудомъ разбудилъ ее и потомъ объяснялъ просиль: «Сестрица, скорве пойдемте! Тамъ человъкъ умираеть. Вы можете помочь, распорядиться...» Она долго и молча глядъла на меня огромными и очень добрыми, очень несчастными глазами. Наконецъ, она поняла. Челюсть ея задвигалась, на лице появилась эта безумная восторженная и робкая улыбка. Затъмъ, губы ея сжались, надулись — капризно и страдальчески. Поправивъ на головъ сбившуюся косынку, она сказала:

— Товарищъ, идите къ чорту!

Я не зналъ, что сказать ей, какъ просить. Со двора доносились звуки марша... Я говорилъ ей, не зная — что сказать:

— Сестра, смотрите же! Воть идеть революціонный патруль. Я пожалуюсь, я обязательно пожалуюсь, если вы не пойдете. Я скажу, что вы уклоняетесь оть исполненія революціоннаго долга. Вы знаете, что вамъ за это будеть! Поймите же, что тамъ человъкъ умираеть!

Губы ен задрожали, точно она собиралась запла-

кать. Добрые и несчастные глаза нѣжно взглянули на меня, обволокии меня большой лаской—и устало закрылись. Возвращаясь ко сну, она плаксиво повторила:

— Но, товарищъ, идите же къ чорту!

Я отошель... Мой мальчикъ умретъ... Музыка играла громче. Играли теперь изъ другой европейской оперы, съ громомъ и восторгомъ; тамъ кричали, тамъ произходило что-то замъчательное, — кажется, апофеозъ! Я вышелъ на крыльцо...

Музыка играеть европейскій маршь на азіатскій нанерь, съ дребезгомъ, съ воемъ и стукомъ... Заблудивнійся мальчикъ смиренно уходить изъ жизни - и зоветь, и видить Богородицу. Какъ грозно, какъ страшно, какъ просто свершается великій отходъ! Музыка души играеть прощальный ственный маршъ: тра-тра-та-та! Быстротекущій вихрь времени проносится мимо, свищеть въ моихъ ушахъ, и безслъдно, и стремительно рушится въ пропасть небытія. Мігновенія текуть, жизнь проходить... - живни нътъ! И вотъ - по предложению картаваго оратора, последній революціонный дозоръ къ наступающей ночи — идуть они, въ высокодонныхъ черныхъ шапкахъ... Кто же они? Кто? Люди — не люди! Ибо нътъ въ нихъ крови, и трепетъ жизни по нимъ пе пробъгаетъ. Фигуры полутвлесныя, бездыханныя, отлигыя изъ олова, осрещенныя апетиленовымъ огнемъ и заведенныя испорченнымъ механизмомъ для грознаго марша? Нётъ. Блёднее еще. страшнве! Я смотрель на нихъ, смотрель...

И грегилось мив, что то бредуть къ забвенію ътчному вемощныя твии русскихъ рабочихъ, освъщенныя потуски вниимъ солицемъ Россіи

Парижъ, 1921 г.

# СМЕРТЬ ЛОШАДИ

I.

Я не могу теперь точно припомнить, когда это было! Кажется, въ концѣ лѣта перваго года войны. Но, можеть быть, и раньше... тогда, когда войны еще не было! Да! Возможно, что это было въ томъ странномъ, въ томъ непонятномъ прошломъ, коего подлинныя черты и не разглядишь сквозь кровавый туманъ годовъ войны и революціи. Однако, я помню ясно: былъ глубокій закать лѣта, — и это было въ Москвѣ!

Я проживаль тогда въ одномъ изъ переулковъ близъ Красныхъ Воротъ, недалеко отъ старинной церковки Трехъ Святителей, похожей (если могу я такъ высказаться) на Божью избу на курьихъ ножкахъ, — такая она маленькая, сказочная, невъроятная, со своими неровно и причудливо осъвщими въ землю отдъльными частями и накренившимися въ разныя стороны, какъ у надломанной игрушки, куполами, точно уносимыми вътромъ за тридевять земель...

Въ тотъ вечеръ я совершилъ большую прогулку по городу...

Москва не располагаеть къ одинокимъ и безцъльнымъ прогулкамъ. Въ Москвъ, обыкновенно, люди выходять на улицу, только для того, чтобы миновать, пройти ее, отъ дома до дома. Даже и теперь, когда надъ прошлымъ зажглось чарующее сіяніе навсегда утраченной прелести, когла всёмъ, что было, возвышающимъ ореоломъ горятъ огни еще не изжитыхъ мученій, — даже и теперь я не могу забыть, что по московскимъ улицамъ всегда носился какой-то неспокойный и недобрый духъ, не любившій праздныхъ прохожихъ и, очевидно, не върившій въ благородство ихъ одиновихъ раздумій. «Чего зря шляешься?», или: «Ну, чего ты не видель?» — таковь быль неизменный голосъ этого духа; и онъ подталкиваль въ спину, онъ подгоняль — по домамь! по домамь! — съ такимъ немилосерднымъ упорствомъ, и такъ удушливо было его близкое дыханіе, что приходилось, обычно, послѣ непродолжительной борьбы, сдаться. «Въ самомъ дѣлѣ, — думалось тогда, не бевъ тоски, пойду-ка я за каменныя ствны, притворю за собой двери и, подъ пискъ самовара, воображу себя на парижскихъ бульварахъ, или въ жакомъ-нибудь Палермо, гдв человвческая мечта, подъ просторомъ хотя-бы и городского неба, расправляеть свои крылья широко и свободно и легко! Такъ думалось тогда... Но у всякаго заправскаго бродяги бывають минуты большой неустрашимости, когда ему любо помъряться упорствомъ только со злымъ уличнымъ духомъ. даже, и съ проливнымъ дождемъ, съ мокрыми хлопьями снёга, съ топкой слякотью, съ режущимъ плюющимся вътромъ. И Москва, гдъ я родился, выросъ и провель значительную часть всей жизни, знаеть множество и понынъ согръвающихъ меня молитвъ, - исполненныхъ придушенной горечи, сраженной гордыни и вольнаго смиренія, — которыя я слагаль въ своемъ сердцв, когда шажкомъ — шажкомъ пробирался среди мрака погасшихъ фонарей и наперекоръ всемъ враждебнымъ духамъ и разъяреннымъ стихіямъ міра всего...

Впрочемъ, въ тотъ летній вечеръ, который я теперь вспоминаю, погода стояла тихая, чудесная. Тишина и миръ были разлиты надъ Москвой величественно и глубоко... На сине-золотомъ небъ -релкія мельканія падающихъ звездъ. Въ воздухе носится едва ощутимая пріятная свіжесть, предвістница грядущей осени... Въ такіе вечера, на подмосковныхъ дачахъ, подолгу засиживаются на терассахъ, вокругъ охладъвшаго самовара. Откуданибудь издалека, изъ мъстнаго парка съ театромъ, плещуть трепетоносные напавы оркестра. Мужчины отказываются оть заботливо предлагаемой шляны — и говорять о томъ, что до осени еще далеко. А женщины задумчиво поглядывають въ темноту сада, на просвъты дорожекъ, и молчатъ, и вспоминають, очевидно, иные вечера, иное время, когда ихъ ждали еще не-пройденныя дорожки, и когда музыка играла такъ близко...

Итакъ, я совершилъ большую прогулку по городу. Я покинулъ комнату передъ заходомъ солнца, но еще засвътло. Я вышель изъ своего переулка и, заворачивая наліво, прошель между церковкой и погруженнымъ въ летнюю дремоту строгимъ барскимъ особнякомъ, принадлежащимъ извъстному въ Москвъ меценату и коллекціонеру картинъ модной живописи; извъстенъ онъ также и своей женой, которую въ городъ считали красавицей. Затъмъ, по Мясницкой, я дошель до Тургеневской площади и, здёсь своротивъ направо, я долго брель по линіи бульваровь, все прямо и прямо, черезь Срѣтенскія Ворота, черезъ Трубную площадь, мимо Старо-Екатерининской больницы, мимо Страстного Монастыря, мимо памятниковъ Пушкину — и Гоголю... — и добрель, наконець, до Гагаринскаго переулка, гдв — на дворъ дома Шлиппе — прошло лучшее время моего датства. Здась н играль въ бабки и въ городки съ дворовыми мальчиками и влюблялся поочередно во всехъ девочекъ изъ сосъдскихъ квартиръ, — и любилъ я ихъ всвхъ, светлоокихъ, светловолосыхъ, мечтательно, печально и немного тиранически, и съ роднымъ братомъ дрался, однажды, до крови за одну изъ нихъ! Завсь-же, въ Большомъ Афанасьевскомъ переулкъ, возвращаясь изъ гимназіи, четверть въка тому назадъ. - я иногда встречаль высокаго, худого старика, съ впалой грудью и узкими плечами. Я помню его старенькое потертое пальто и диковинную круглую шапочку изъ свраго войлока. Я снималь передъ нимъ картузъ дрожащею рукой, и дрожащими губами бормоталь: «З-с-с-те!», неуклюже стараясь изогнуться почтительно и граціозно. А онъ останавливаль на мнв строгій, почти жесткій взглядь своихъ маленькихъ глазъ, подъ насупленными, лохматыми бровями, и отвечаль раздельно и ясно: «Здравствуй!». Это быль Левь Николаевичь Толстой.

....Отъ дома Шлиппе, переулками, я вышелъ на Пречистенку и спустился по ней до сквора, вокругъ Храма Христа Спасителя. За моей спиной, гдв-то далеко, за Крымской площадью, еще горыла на небъ красная полоска. Мягкія льтнія сумерки нъжно замирали; тъни клубились вокругъ низкаго кустарника сквара. Среди легко и ласково наступавшей темноты я побродиль вокругь храма, а затвиъ — постоялъ возлв высоко вознесенной огромной фигуры — на мраморномъ пъедесталь, на гранитовомъ цоколв — огромной бронзовой фигуры порфироноснаго царя Александра Третьяго... Позже, съ него сияли голову, — и я видель его и такимъ! Я видълъ, какъ онъ, и безъ головы, продолжаль держать скипетръ и державу и непоколебимо вовставть на своемъ престояв; и не только непоколебимо, — но и такъ спокойно, такъ властно, такъ торжественно, какъ-букто голова ему и вовсе не

была нужна... Отойдя отъ памятника, я спустился къ Москва-ръкъ, дошель до перваго моста, перешель его — и еще долго ходиль, при лунв и звъздахъ, по той прибережной части города, гдъ, среди Божьихъ домиковъ на курьихъ ножкахъ, среди розовыхъ и голубыхъ развалинъ со ствиными кіотами, среди ветхой, прелой и "местами, подгнившей азіатчины, поставлены разныя хорошія заграничныя штуки: эдёсь — электрическая станція, здесь — заводъ минеральныхъ водъ, тамъ — большія, въ зеркальныхъ стеклахъ, конторы драпа и сукна, тамъ — институть для благородныхъ дъвицъ! Когда смотришь на эту Москву, и еще вспомнишь, что въ магазинъ Шанкса, на Кузнецкомъ мосту, выставлены галстухи, гетры, высокіе воротники и желтые кожаные саквояжи, то испытываешь странное, едва-ли яснымъ словомъ выразимое чувство... Летъ иятнадцать тому назадъ, вотъ туть, въ Парижѣ, я видѣлъ, на avenue de l'Opéra, небольшой магазинь подъ вывёской: «Objets d'Asie», и въ маленькой витринъ, среди кальяновъ, оленьихъ роговъ и еще какихъ-то кокосовъ и черепахъ, я увидъль самоваръ и русскіе расписные ларцы. Objets d'Asie! Ho, вотъ — въ Москвъ, за ръкою, часто думается о томъ, что не только наши слова -звукъ пустой, но и самыя понятія наши, наибол'ве въ насъ укоренившіяся, столь же пусты, и призрачны, и мимолетны, какъ туманъ надъ природой: сейчасъ онъ здёсь, а съ зарею — уходить! И если, напримъръ, надъ магазиномъ Шанкса подвъсить дошечку съ вполнъ, не правда-ли, законной надписью: «Objets d'Europe», — то для того, кто придетъ изъ Замоскваръчья, — изъ своего, родного и привычнаго Замоскварвчья, — эти написанныя слова и все, что подъ ними въ витринъ, будутъ насыщены такимъ-же варваризмомъ и экзотикой, какъ и этоть такой безсознательно гордый и глупый магазинчикъ на avenue de l'Opéra, со своимъ кокосомъ и самоваромъ. Вотъ почему, когда смотришь на странную катастрофическую смѣшанность обликовъ Москвы и московской жизни, во всѣхъ ея каждодневныхъ проявленіяхъ, то переживаешь то тревожное подсознательное чувство, которое подсказываетъ тебѣ неминуемость мгновенія, — далекаго, близкаго-ли, — когда всѣ наши самыя привычныя понятія и представленія — о дикомъ и первобытномъ, о цивилизованномъ и прогрессивномъ — поблѣднѣютъ, расплывутся, сгинутъ... или — вѣрнѣе — уйдутъ туда, куда идутъ туманы!...

Было уже около полуночи, когда я, возвращаясь, перешель мость въ другомъ месте реки, и поднявшись по узкой улиць, мимо глухихъ лабазовъ и замкнутыхъ давчонокъ, подходилъ къ Красной площади; направо отъ меня сврвла и голубвла пустынная Варварка... Кому не памятны золотыя ризы и синій покровъ, и млечный небесный путь, и полосы луннаго свъта московской лътней ночи -надъ Василіемъ Блаженнымъ, надъ Кремлевскими стънами, надъ указующей дланью Минина, и надъ скорбнымъ сумракомъ Иверской часовни! Затемъ, я пошагаль еще среди простора площалей — и полходиль къ тому сквару возлѣ Театровъ, котораго здесь не было въ мои школьные годы. И здесь я неожиданно встретиль моего брата, — художника, младшаго, но теперь, уже, покойника: онъ умеръ недавно отъ тифа!..

Мы нисколько не удивились этой неожиданной ночной встръчъ, котя передъ этимъ не видались нъсколько мъсяцевъ, и я, напримъръ, предполагалъ, по слухамъ, что онъ живетъ въ Финляндіи или на дачъ, а онъ — обо мнъ, кажется, ровно ничего не слыхалъ. Но мы не удивились, потому-что, какъ братья, — и всъ братья міра, въроятно, поймутъ меня, — мы были проникнуты върой въ напу, такъ

сказать, обоюдную вездѣсущность и, даже, безсмертность. Мы только взглянули другъ на друга, съ нѣкоторой усмѣшкой.

— Что, тоже бродяжничаешь? — спросиль я.

Онъ объясниль, что, дъйствительно, живеть на дачь, подъ Москвой, что въ городъ онъ прівхаль только за красками, но — встрътившись съ большой компаніей знакомыхъ художниковъ, былъ ими захваченъ, и вечеръ провель въ ресторань. А теперь онъ спѣшиль на городскую квартиру, переночевать, предполагая возвратиться на дачу съ утреннимъ раннимъ поѣздомъ. Очень слабохарактерный, безвольный, онъ опасался застрять въ городъ, потому-что въ тъ дни среди московскихъ художниковъ было весьма принято шататься по дешевымъ ресторанамъ и ночнымъ чайнымъ притонамъ... Отъ него слегка пахло виномъ... А я зналъ, что онъ, по предписанію врачей, собирался этимъ лътомъ воздерживаться и лъчиться. Я — спросилъ:

— Ну, а здоровье какъ?.. Почему ты не увхалъ въ Финляндію?

Онъ промычаль что-то невнятное. А потомъ, безъ всякаго перехода или подготовительныхъ словъ, точно возобновляя давній прерванный разговоръ, — такая у него была обычная манера, — заговорилъ объ искусствъ.

### II.

Намъ было не по пути; мы жили на разныхъ квартирахъ. Но онъ вызвался проводить меня. Сначала, мы побродили вокругъ Театровъ. Мы шли, останавливались на углахъ — и говорили объ искусствъ.

Было то лётнее ночное время въ Москве, -- после двенадцати, — когда жизнь въ городе замираеть почти повсеместно. Электрические театры отстукали свои многократные сеансы; семейные москвичи, оставшіеся на літо въ городів, разбрелись по домамъ. Только на Тверской и на прилегающихъ къ ней углахъ Саловой еще толпится спеціальная публика — вокругь закрывающей свои двери, полутемной кофейни Филиппова, возлѣ «Акваріума» и театра Зона, и около ночныхъ колбасныхъ лавокъ, такъ-называемыхъ «гастрономій», которыми Москва обзавелась въ последние годы передъ войной. Но въ самомъ центръ, вокругъ Театровъ и въ районъ Кузнецкаго — безлюдіе и тишина, изръдка нарушаемыя запоздалой голосистой компаніей изъ «Бара» или изъ подвальнаго ресторана «Ришъ». И, еще, подъ статуей Ивана Печатника, какой-нибудь вовсе одинокій пьяница, въ котелкъ. — самъ не въдающій, куда забрель, — стоить у края панели, бьеть палкой о тумбу, и вопить неистово, и зоветь невилимаго извозчика: «Извозчикъ!... Изво-о-озчикъ!... Извозчикъ, сукинъ сынъ!...» И нъть ему, сердечному, отвъта отъ всхрапнувшей родины. А старый человъкъ, въ блузъ и съ большой палкой, закрутивъ лишній свёть на фонарѣ, пройдеть мимо, взглянеть на котелокъ и пробормочеть: «Чего орешь!» И съ горечью въ мимолетномъ раздумъв, и съ усмъшкой печальной поръшить незлобиво: «Самъ ты, братецъ мой, сукинъ сынъ, пьяная морла!...»

Мы говорили не о живописи и не о литературѣ, мы говорили объ искусствѣ вообще; мы говорили объ Искусствѣ. Но каждый, разумѣется, въ своихъ предпосылкахъ, примѣрахъ и разсужденіяхъ, невольно исходилъ изъ своей профессіи: онъ — изъ живописи, я — изъ литературы. Но когда я въ чемъ-нибудь не соглашался съ нимъ, онъ, младшій, говорилъ, морщась и не безъ раздраженія: «Ты этого не понимаешь!» А я, — когда, въ свою очередь,

сталкивался съ упорнымъ непризнаніемъ моихъ доволовъ, — говорилъ, не безъ робости: «Ты тутъ не чувствуешь до конца!» — Однако, такое мое замъчаніе казалось ему менве обоснованнымъ, менве солиднымъ, нежели его указание на мою непонятливость. Это происходило оттого, что литература почитается за общее достояніе, о которомъ всякій можеть имъть свое суждение, не будучи въ этому спепіально полготовленнымь. Писанное человъческое слово — не то, что красочный мазокъ или музыкально-звуковой эфектъ! Пониманіе писанныхъ человеческих словь, ихъ сочетаній — простейшихъ. сложныхъ и, наконецъ, исключительныхъ, грандіозныхъ — мало кого смущаетъ въ Россіи. Да и во всей Россіи, въроятно, не наберется и пяти тысячь человъкъ, читающихъ русскихъ классиковъ, по достижении традцатильтняго возраста...

То, что мы говорили объ искусствъ, и что примиряло и удовлетворяло насъ обоихъ, въ общихъ чертахъ сводилось къ слъдующему.

Прежде всего — полагали мы — художникъ долженъ научиться смотрыть на жизнь. Еще Антонъ Павловичъ Чеховъ горевалъ о томъ, что въ мало людей съ видящимо взглядомъ Россія глазъ. Будь ты хоть семи пядей во лбу, не можешь ты на міръ Божій лупить глаза неосмысленно. если хочешь быть художникомъ! Нельзя, чтобы глаза твои были простыми «глядёлками», отмёчающими видънное такъ, какъ механическій счетчикъ отмъчаетъ брошенный въ него мълный пятакъ. или даже такъ, какъ зеркало отражаетъ стоящее передъ нимъ. Ты долженъ научиться смотръть активно и разумно! Активно: то-есть осмысленно, проникновенно, во всеоружім всёхъ твоихъ жизненныхъ знаній и опыта! Разумно: то-есть безстрастно; потому-что разумъ отвергаетъ всякое пристрастіе и любую страсть. А смотръть на жизнь — нужно для того, чтобы научиться въ ней распознавать и отличать дъйствительное отъ иллюзорнаго. А такъ познавать жизнь — нужно для того, чтобы проникнуть въ ея реальность, то-есть въ единственную реальность міра — и, такимъ образомъ, овладъть реализмомъ въ искусствъ.

Но реализмъ въ искусствъ — полагали мы далъе - ничего не имъетъ внутренно-общаго съ натурализмомъ. Различіе между тімъ и другимъ такое-же, какое есть между реальнымъ живымъ человъкомъ и отражениемъ его въ зеркалъ. Натуральный обликъ человъка или предмета овладъвается и неосмысленнымъ взглядомъ «слъпо» смотрящихъ глазъ; а реальный обликъ — едва доступенъ и самымъ видящимъ глазамъ, и едва-ли, когда-либо и кому-либо, доступенъ до конца. Поэтому, даже посредственный портреть, исполненный живописцемъ съ реалистическимъ дарованіемъ, всегда лучше самой точной фотографіи, хотя-бы и цвітной: опъ не только лучше, выше по качеству, онъ — другого качества: того, что отъ искусства! Реализмъ и натурализмъ, въ сущности, несоизмъримы.

Но какъ подступить къ реальности жизни, къ реальности міра, болѣе загадочной и таинственной, нежели всѣ придуманныя о жизни самыя страшныя мистеріи и символическіе гротэски, — какъ овладѣть реализмомъ въ искусствѣ? Мы полагали, что единственный путь къ этому — въ воздержаніи физическомъ. Табакъ, вино, женщины — осуждались нами не по убѣжденію нравственному, а потому, что они-де разрушаютъ въ насъ разумное безстрастіе, подрываютъ активность и чистоту нашей художественной проникновенности. Мы вспоминали Леонардо да-Винчи. Мы устанавливали связь между общей похотливостью нашего вѣка и его дряннепькимъ искусствомъ, идущимъ отъ воспаленнаго воображенія. Мы оба, будучи людьми слабыми и пад-

кими во встхъ смыслахъ, съ восторгомъ и тоскою рисовали другь другу образъ художника аскетическаго, суроваго, трезваго, физически сильнаго, — вызывающаго зависть и соревнованіе мужчинъ и нѣжное затаенное поклонение женщинъ. Если бы, говорили мы, — передъ любымъ изъ насъ, передъ любымъ художникомъ современности, тоскующимъ о реалистическихъ достиженіяхъ, объ овладіній, съ помощью краски или слова, высшимъ реализмомъ въ искусствъ, нежданно разорвалась завъса придуманныхъ иллюзій, и въ открывшейся холодной перспективъ, хотя-бы на мгновеніе, во всей правдивости и строгости, предстала подлинная Реальность Жизни и Міра, то каждый изъ насъ поняль бы свое ничтожество — и прокляль бы оставленные позади годы, когда онъ, думая, что приближается къ Идеалу, растлъвалъ свое вдохновение страстями и страстишками, гасиль въ себъ искру Божію, и шелъ — шелъ позорною тропою прочь отъ искусства, прочь!.. Итакъ: воздержаніе, какъ путь къ познанію реальности міра; реализмъ въ искусствъ. — какъ пѣль!

— Ну, а импрессіонизмъ? — спросилъ я, въ заключеніе, зная склонность брата къ этому теченію французской живописи.

Очевидно, ему почудилась насмѣшка въ моемъ вопросѣ, — потому-что онъ болѣзненно поморщился. (А я и не думалъ смѣяться!)

- Импрессіонизмъ, сказалъ онъ, это тотъ же реализмъ, но только... въ весенней рубашкъ! Я сказалъ:
- Мы живемъ въ странѣ, гдѣ весны хотя и прекрасны, но мимолетны; а осень и зима откалываютъ добрыя двѣ трети отъ цѣлины года. Поэтому намъ, думаю я, болѣе по духу... какая-нибудь сѣрая трудовая куртка!

Затемъ, развивая эту мысль не только поверхно-

стно, но и вглубь, идейно, и, сообразно съ этимъ, подыскавъ болве подходящее сравненіе, мы портиили, что изъ всвух духовныхъ одвяній русскому художнику всего болве приличествуетъ — скромная ряска послушника. И на этомъ мы смолкли.

Мы подымались въ это время по Кузнецкому Мосту. Сквозь охватившую насъ задумчивость, мы слышали какіе-то протяжные голоса, крики, доносившіеся съ высоты Лубянки. Но наше вниманіе не было этимъ отвлечено отъ занимавшихъ насъ размышленій; такіе крики часто разносятся по сонной Москвъ, съ мъстъ, гдъ — по ночамъ — чинятъ асфальть... Въ тв дни, на Курнецкомъ Мосту стояла выпуклая искусственная изгородь съ деревяннымъ накатомъ, вокругъ какой-то затянувшейся постройки или ремонта дома; она начиналась, кажется, возлѣ оружейнаго магазина Штуццера и скрывала отъ глазъ всю верхнюю часть улицы. Едва мы обогнули крутой конечный выступъ этой изгороди, возлѣ художественнаго магазина Даціаро, какъ брать мой, шедшій впереди, весьма неожиданно и даже напугавъ меня, схватилъ мою руку и вскрикнулъ:

# — Смотри!

Онъ указывалъ куда-то вверхъ, выше и дальше темныхъ угловъ Рождественки. Я ничего не видълъ. Онъ повторялъ, нервно тиская мою руку и точно опасаясъ, что поразившее его зрълище разсъется, какъ видъніе:

— Смотри-же!... Туда.... Дальше!...

Наконецъ я замътилъ нъчто, дъйствительно, странное и, на первый взглядъ, даже непонятное. Какая-то огромная темная фигура, среди совершенно пустой улицы, — живая, двигавшаяся, приближавшаяся къ намъ! Двигалась она не прямо, а какъ то неровно, зигзагообразно. И самымъ страннымъ въ ней было то, что — приближаясь къ намъ — она

то уменьшалась, то снова становилась огромной.

Это была — лошадь! Я разглядёль ее при свётё фонаря, возлё магазина Мюра и Мерилиза. На ней были хомуть и изорванная сбившаяся упряжь; порванныя возжи волоклись по землё. Она была ранена, искалёчена. Ея передняя правая нога была переломлена на-двое, насквозь («начисто», — какъ потомъ говорили въ толпё), какъ разъ по мёсту колёнчатой бабки; нижняя часть ноги висёла на едва уцёлёвшемъ кускё кожи.

И, все-таки, она бъжала, — и ужасенъ быль ея бътъ! Она бъжала на своихъ трехъ упълвышихъ ногахъ, въ мучительномъ напряжении всего тъла, высоко поднявъ верхнюю часть искаличенной ноги; а нижня часть этой ноги болталась и вертвлась въ воздухъ, какъ малое древко молотильнаго цъпа. Но ежеминутно она поникала, падала, прикасаясь въ мостовой окровавленнымъ остаткомъ колвна. Тогда, отпрянувъ отъ земли, въ мятущемся отчаяніи, она вскидывалась на заднія ноги, искала опоры, крутилась на мъстъ, пятилась назаль. Затъмъ, снова установивъ смутное равновъсіе на трехъ ногахъ, бъжала дальше, впередъ... И такъ она побъжала до Неглиннаго провзда, и эдёсь метнулась-было влёво, въ сторону Софійки, но затемъ, точно разлумала или вспомнила что-то, круто поворотила назадъ, пробъжала еще нъскольно саженей и, наконепъ, остановилась возлё углового большого фонаря, по правую сторону улицы. Только тогда, подойдя къ ней, — вмъстъ съ другими, со всъкъ сторонъ сбъжавшимися людьми, — я разглядёль, насколько она была обезображена. Не только сломанная нога мучила ее. Весь ея правый бокъ быль изодранъ и сочился кровью. И была у нея еще одна рана: верхнее въко ея праваго глава было сорвано полностью и --- такъ же, какъ часть изуродованной ноги — висвло на тонкомъ кускъ кожи.

Она остановилась... Но и стоять ей было трудно: быть можеть, труднье, нежели — бъжать! Ея непрерывно осъдавшее тъло дрожало крупной дрожью; были слышны тяжелые удары ея сердца: «Гхакъ! Гхакъ!» Голова ея — то низко припадала къ землъ, то ръзко, точно съ перепугу, вздымалась вверхъ. А огромный, обнаженный, горящій глазъ напряженно косился на столпившихся вокругъ нея людей, точно поджидая, точно подкарауливая то, что они замышляли.

Въ толит говорили о томъ, что ее надо пристрт лить, не медля. Городовой и старшій дворникъ сказали, что убить ее, дтйствительно, надо, — но что сдтать эте никакъ невозможно безъ господина помощника; а они не могутъ сойти съ поста. Тогда, нтсколько человть изъ толпы вызвались сбтать въ участовъ за помощникомъ пристава.

Брать сказаль:

— Ну, — туть начинается такое, на что и смотрять нельзя!

Онъ былъ очень блёденъ, губы его нервно вздрагивали; и онъ растерянно поглядывалъ то на лошадь, то на меня.

— Воть это номерь! — бормоталь онь, со свойственной ему манерой высказывать свои чувства съ нарочитой вульгарностью.

Затъмъ, — какъ-то сразу ръшившись, — онъ наскоро простился со мной и торопливо отошелъ.

А я остался. Я продолжаль смотрёть. И я видёль все до конца.

# Ш.

Была ясная ночь! Лошадь продолжала стоять, дрожа, покачиваясь и осёдая всёмъ тёломъ. Люди, столпившіеся вокругъ нея, были, въ большинстве, не злые, жалостливые люди. Они жалёли погибающую лошадь; это сказывалось въ ихъ вздохахъ и восклицаніяхъ — то ласковыхъ, то опечаленныхъ, угрюмыхъ. Жалблъ ее деревенскій мальчикъ, льтъ одиннадцати, безъ шапки, громкимъ голосомъ разсказавшій толив о томъ, какъ у нихъ, въ деревив, въ такихъ случаяхъ ръжуть лошади гордо кухоннымъ ножомъ. «По дыхалу»! — сказалъ онъ. И добавиль: «Ей Богу!», укоризненно и покорно мотая головой и какъ-бы желая этимъ сказать, что вотъде какіе ужасы бывають на свёть, и что страсти --какъ жаль лошадку. Жалель лошадь и старшій дворникъ, немолодой, бородатый человъкъ съ умнымъ и хмурымъ лицомъ, нервно разсердившійся на мальчика за его разсказъ. «У насъ въ дере-е-евнт!» — передразниль онъ мальчика. И прикрикнулъ на него и на его однолътку-товарища, повышая голосъ: «Чего шляетесь, бѣсы!» — А потомъ, въ сердцахъ, онъ пытался — безрезультатно разогнать и всю толпу; и по тому, какъ онъ говорилъ. что нечего зря глазъть на конченную, пропащую скотинку, было ясно, что муки лошади проникали въ его сердце. И даже, молодая дама и господинъ, въ хорошемъ заграничномъ платъъ, вышедшіе изъ ресторана «Ришъ» и, сначала, звучными, дворянскими голосами суетливо справлявшіеся встхъ о томъ, гдт и какъ случилось это происшествіе, — потомъ притихли и, поглядывая на лошадь, перешептывались, прижавшись другь къ другу, съ внезапно погасшимъ блескомъ въ не-трезвыхъ глазахъ. Жальли, кажется, всв... Разсказъ прибъжавшаго ломового возчика о томъ, какъ лошадь, оставшаяся на минуту безъ его присмотра, чего-то испугалась, понесла, наскочила на маневрировавшій по Лубянской площади пустой трамвай и, потомъ, отъ боли и испуга, вырвалась изъ упряжи, — передавался изъ устъ въ уста невольно пониженнымъ голосомъ, значительнымъ полушепотомъ.

Но пикто не двигался съ места, никто не ухопиль. Потому-что всв эти искренно жалостливые люди не только жалвли лошадь, - но и ждали ея смерти, ждали съ любопытствомъ, съ нетерпвніемъ, и все поглядывали, не идеть-ли помощнинъ пристава съ револьверомъ. Они не только ждали ея смерти, но и хотели, чтобы эта смерть произошла на ихъ глазахъ и какъ можно скорбе. Не самое грядущее исчевновение лошади волновало людей, -а то, что на ихъ глазахъ должно было проивойти послъднее, предъльное, высшее и самое страшное дъйствіе, разрывающее жизненную оболочку и потрясающее мірь дуновеніемь небытія. Лошадь не могла и не должна была уйти оть этого действія! Потому-что люди видъли ея горящій непосильною мукой главъ, ея разорванное твло, ея кровь, смятеніе и ужасъ, и все, что дълало ее, когда-то сильную, ничтожной и ненужной для жизни. И чемъ жесточе была ея мука, и чамъ больше было ея ничтожество, твмъ крвиче была увъренность людей въ томъ, что она не можеть и не должна уйти отъ смерти... Мальчикъ, безъ шапки, теперь говорилъ, обракъ старшему дворнику: «Дядь, а, дядь, слышь что-ли, — върно, знать, подъ ворота ее заведуть, либо на дворь, а не то, чтобы злъсь зашибуть?» — Вородачь хмуро отругивался. Тогда молодая дама изъ ресторана «Ришъ» сказала музыкальнымъ пворянскимъ голосомъ: «Милый дядя. накой вы, право, смешной, что все сердитесь! Вы бы лучше объяснили намъ, — дъйствительно, повепуть куда-нибудь лошадку, или вдесь убысть?» — Чей-то мужской голось изъ толпы убъжденно отвътиль: «Здысь убыють!» — А бородачь спросиль: «А ны, барыня, зачым вря безполоитесь?» — Ктото въ толив засмвялся. Молодая дама музыкально сказала: «Милый дядя, какой ты, право, глупый! Лошанку, конечно, жаль, всемъ жалко. — но ведь

ее, во всякомъ случав, непремвнео убьють?» — Тотъ-же убъжденный голосъ изъ толны повторилъ: «Непремвнео убьють!» — А сухопарая, тонкогубая мвщанка, стоявшая возлв лошади, на мостовой, впереди всвхъ, сказала: «Чего еще зря ее мучить! Гдв встала, тамъ и убивайте!» — Молодая дама обратилась къ ней: «Да, но вотъ мальчикъ сказалъ, что ее куда-то уведуть?» — Тогда старшій дворникъ остро взглянулъ на нее, и опять нервно передразниль: «Мальчикъ сказалъ!... А вы, барыня, больно умны, что слушаете!» — Молодая дама подняла на него свои красивые, беззащитные глаза: «Значить, — сказала она, — ее здвсь убьють?» — И снова были изъ толпы уввренные голоса: «Здвсь убьють!..»

А лошадь продолжала стоять — и надрываться на мъстъ. Надъ ней совершалась ясность звъзднаго неба; вокругъ нея шентались и перекликались безсильные люди. А она ждала отъ нихъ помощи... Какъ въ прежнія времена, всякое утро, когда свъть проникаль въ ея темное пристанище, и хозяинъ отгоняль ее отъ стойла незлобнымъ окликомъ, въ груди ея, — точно чириканіе и щебеть вспорхнувшихъ пташекъ, — подымались радостныя устремленія къ жизни, сердце взбухало оть довърія къ человъку, и мерещились впереди веселый бъгъ и вольный поскокъ по зеленымъ, сочнымъ лугамъ, позлащеннымъ содицемъ, — такъ и теперь, смертельно испуганное сердце въ изувъченномъ тълъ, съ удесятеренной силой, въ последній разъ, обманывалось, ждало отъ людей великаго утъщенія, искало спасенія, върило! Теперь она върила въ людей не отъ довърія къ нимъ. Въдь и въ тъ прошедшія времена, всякое утро, она слышала осаждающее «но, н-о-о-о!» и потомъ на нее надъвали ярмо, и начинался подневольный бъгъ по заказаннымъ дорогамъ, среди каменныхъ домовъ зловоннаго города, и тоска безцвльныхъ стояновъ, и удушье усталости, и погоняющій бичъ! Но такъ безпощадна мука капля-за-каплей истекающей крови, такъ страшенъ каменный міръ, исполосованный непонятными, со всёхъ сторонъ наб'єгающими темными тѣнями, міръ шатающійся, міръ размякшій, міръ струящійся горючей липкой слизью, и полный неожиданно зіяющихъ проваловъ! А небо творить свою далекую золотую ясность, — но она безотвѣтна къ мукамъ тѣла, и кругомъ нѣтъ никого, кромѣ шепчущихъ и перекликающихся людей! И она вѣрила въ людей — отъ боли и отъ ужаса.

А рътение людей было непоколебимо и слъпо... И когда, со стороны Третьяковскаго провзда, показалась группа людей, когда къ толпъ подбъжаль запыхавшійся человікь, побывавшій въ участкі, и сказаль: «Илеть!» — и среди людей поднялись шопоть и вздохи удовлетвореннаго ожиданія, — мнъ показалось, что и она, лошаль, поняла... Она поняла слѣное безсиліе людей, ихъ непреклонную убъжденность въ томъ, что для нея нътъ возврата къ жизни, что она достойна смерти. Внезапно, — этого въ толпъ никто не ожидалъ, - она вся вытянулась, насторожилась; по ней пробъжала нервная дрожь. Затъмъ, она заерзала, заметалась на мъстъ, тяжело потрясая всемь теломъ, и, вдругъ — пугая людей своей рѣшимостью, разгоняя ихъ своимъ отчаяніемъ, она вскинула морду къ звъздному небу — и побъжала.

И вотъ тутъ-то обнаружилось, что люди не хотъли ея спасенія, — что они не допускали, чтобы она, вырвавшись на волю, могла продлить свою жизнь. Раздались свисть и крики: «Держи!» — «Забъгай впередъ!» — «Бери съ двухъ сторонъ!» — И вся толпа, — не меньше сорока человъкъ, — побъжала вслъдъ за лошадью.

Она бъжала, ударяя о мостовую объими задними истами одновременно, и конвудьсивно цъпляясь

за нее здоровой передней ногой. И опять она скользила, падала, карабкалась, и еще разъ превозмогала отсутствіе опоры и равновѣсія изступленнымъ отчаяніемъ и мятежными порывами воли. Вокругъ нея все было смутно, расхлябано, полно зіяющихъ проваловъ, и только боль и ужасъ бодрили ее, принавали ей силы. Но и эти послъднія силы постепенно оставляли ее... И, не добъжавъ до Трубной площади, передъ небольшимъ, разбитымъ здъсь, садикомъ, она снова пріостановилась и стала затихать, покачиваясь и припадая головой къ землъ... Смолкли вокругъ присвистъ и крики людей. Они не ръшались сразу напасть на нее. Они осторожно приближались къ ней, они сговаривались между собою, какъ поступить, — и голоса ихъ опять понизились до благообразнаго собользнующаго шопота.

Она стояла на мъстъ...

Была ясная ночь! Гармонія звъзднаго неба звучала надъ городомъ. Воздухъ былъ полонъ ея нъжнымъ бряцаніемъ, легкимъ металлическимъ перезвономъ, и синими переливами эфирныхъ трелей. Съ ними сливаясь, какъ-бы въ общемъ возвышенномъ раздуміи, смиренно півли телеграфные столбы. Людскіе вздохи и шопоть, ихъ темные силуэты, тревежные сигналы ихъ рукъ, надвигались на дошадь все ближе и ближе, окружали ее. Уже слабъли ея порывы! Когда, отъ безсилія, она опускалась на раненое кольно, — она ощущала кровавую слякоть и снова вспоминала, покоряясь все больше и больше. Одиночество, ужасное единство ея тъла. неумолимо забитаго въ изодранную шкуру, мучило, обжигало ее — и сковывало всю. Долгое тщетное рвеніе одольло ее. Она устала метаться и биться; она никла, она замирала. И что-то смутное — еще крине, чимъ тило, скованное — зашевелилось въ ней. Что-то смутное, еще глубже замкнутое, еще жесточе полоненное, что было въ ней и прежде, и все-

гда... Все ближе и ближе мелькали вокругь горящіе глаза людей, и уже слышались ихъ осторожные, крадушісся по асфальту шаги; уже слышала она тихое призывное усканіе, вкрадчивые голоса, ласковые оклики... — всъ эти обманные, предательские вовы людей, которые она издавна, съ такою горечью. Кто-то подползаль къ ней тамъ, повади, ея спиной! Она вздроглЪ... 3a нула всвиъ тъломъ, вспряла ушами — и хотвла оборотиться, посмотреть. Но тогда то смутное, что было въ ней всегда, и теперь высоко подымълось изъ темныхъ глубинъ, незыблемо и тяжко склонилось надъ ея безнадежной болью, и не позволило ей шевельнуться; это была ея лошадиная душа, это быль ея голось: «Не надо! Остановись! Пошалы не булеть!»

Тогда она сдѣлала то, на что еще хватало ея силь. Она выпрямилась. Она встала, старательно крѣпясь, на своихъ трехъ уцѣлѣвшихъ ногахъ; она вытянулась, что было мочи, вверхъ. Еще одинъ мучительный и осторожный порывъ: и высоко надъ улицей простерлась ея шея, и вознеслась ея голова! А тогда и та искалѣченная нога, покачавшись изъ стороны въ сторону, тоже спокойно повисла, вастыла. «Гхакъ! Гхакъ!...» билось ея сердце. Теперь горище глаза людей окружили ее — со всѣхъ сторонъ... со всѣхъ сторонъ! Довольно! Она поняла! Все кончено...

И, вдругъ, я услышалъ ея негромкое ржаніе, — негромкое, но нъжно продленное, властно усиленное, вольное, великое — и потомъ затихшее, замершее, въ невыразимой сладости чуть сдержаннаго вздока. Въ этомъ крикъ, похожемъ на стонъ и на пъніе, была и тоска, и ръшимость, и страстное упованіе, и чудная готовность. О, это была прекрасная пъсня души, возвышенной надъ міромъ! Я понялъ ее... Ея темная, смутная душа дотолъ не давала ей

отрады, — но тяжко угнетала подъ неодолимымъ игомъ непониманія земного рабства и подневольныхъ скитаній; а теперь она предвкушала возможность нездішней и вічной воли, далеко отъ мукъ изнемогшаго тіла, среди блаженныхъ просторовъ, и потому рвалась наружу, устремлялась далеко и высоко... туда-туда, откуда быють на землю неумолчные трели и перезвоны гармоніи небесной!

Люди надвинулись на нее. Ихъ руки коснулись ея шен, ея спины. Она грузно всколыхнулась, отрясла ихъ всъхъ, перепуганныхъ, прочь отъ себя; и потомъ, внезапно притихшая, спокойная, она сама склонила колъна, сама полегла на землю. Голова ея свалилась на мостовую. Сердце затихало. Люди гнули спины, стараясь заглянуть въ ея глаза; а она (развъ не всъ это поняли!) пыталась сомкнуть свои глаза, чтобы не видеть. Здоровый глазъ закрылся. Но тоть другой, залитый кровью, безвакій, — тоть, передъ которымъ въ эту ночь разорвалась завъса, открывшая взору истинный, такой немилосердный обликъ жизни. — былъ теперь беззащитенъ: то погружаясь въ тусклость забвенія, то загораясь последнимъ отблескомъ пережитого, онъ продожалъ смотръть и видъть. «Я лошадь! Передо мной открылся ужась міра!» — говориль этоть взглядь... Толпа разступилась, пропуская помощника пристава и понятыхъ людей, съ веревками. Но кто-то сказалъ: «Можно не вязать!». — И затъмъ, они снемамали съ нея хомутъ, ремни, всю упряжь, все ярмо, всъ путы, пропитанныя ея потомъ и кровью, которыя связывали ее въ долгіе годы покорнаго бъга по земнымъ дорогамъ... Они обнажали ее, они торопливо готовили ее къ последнимъ тайнымъ испытаніямъ, къ последнимъ ударамъ.

Парижъ, 1922 г.

## домикъ подъ снъгомъ

I.

...Возможно, что теперь наступившіе дни — еще не приближение того конца, о которомъ неизменно говорить тихая безумная, Наталія Ивановна, иногда навъщающая нашъ домикъ. Но если намъ суждено опольть эти лни, если мы выживемъ — и когда-нибудь, среди тепла и света, въ чистоте тела и съ душой отдохнувшей, забывшей, оглянемся на прошлое, то — въроятно — мы просто-на-просто ничего не поймемъ въ нашихъ теперешнихъ думахъ. чувствахъ, ощущеніяхъ. Самые истоки боли нашей, — это больше, чъмъ простое сознание гибели Россіи и собственной своей обреченности, — покажутся намъ странными, почти ирреальными. А подлинныя видьнія жизни, посьщающія нась въ этомъ кромѣшномъ одиночествѣ, на которое мы осуждены равнодушіемъ людей тамошнихъ, потустороннихъ, не-знающихъ, видънія, неумолимо воплощающія безвольное брожение плоти человъческой, — ея случайное, шальное горъніе и внезапное покорное угасаніе, — будуть нами же объяснены игрою разстроеннаго воображенія. И для всей этой живой муки, въ которой теперь такъ страшно, такъ непонятнопрекрасно, такъ передъ цвлымъ міромъ открыто, смертельно бьется и исходить душа Россіи, какойнибудь многоученый и хитрый дуралей обязательно придумаеть пустозвонкое латинское слово.

А я знаю, что въ эти дни мы поднялись въ выс-

шія, предѣльныя сферы бытія, гдѣ человѣческая совѣсть обрѣтаетъ прозрачность стекла и силу, и жгучесть расплавленнаго металла, — когда человѣкъ поистинѣ бесѣдуетъ съ Богомъ, какъ тотъ хулительразбойникъ, или какъ тотъ другой, благоразумный, но всегда лицомъ-къ-лицу съ Нимъ, воочію, и съ дерзаніемъ небывалымъ.

Офицеръ Д., одинъ изъ последнихъ защитниковъ родины, быль разстрелянь местными убійцами изъ здышней такъ называемой Чрезвычайной Комиссіи. Убійство происходило невдалек в отъ полотна жел взной дороги, подлъ старой, полуразрушенной фабричной ствны, окруженной дикимъ кустарникомъ и колючей проволокой. Сюда, ночью, передъ разсвътомъ, привели офицера, и здъсь онъ самъ для себя вырыль неглубокую яму. Затьмь, въ него стръляли, стръляли въ голову. Но не убили его! Его били и недобили, какъ это теперь случается часто, такъ часто... А онъ даже и сознанія не потеряль. Но повинуясь непреодолимому инстинкту жизни, какъ любой жучокъ, какъ божъя коровка, упалъ и притворился мертвымъ. Тогда они столкнули его въ яму и бросили на него нъсколько лопать земли. И отошли въ сторону, и занялись табачкомъ. И лежалъ онъ въ ямъ, съ разбитой головой, но не потерявшій сознанія, и ощущаль свою кровь и комья земли на лиць, — и раскрыль глаза и смотрыль на небо. на звъзды... И о чемъ же онъ думалъ, что чувствоваль, когда такъ лежаль въ ямв, какъ человвческая падаль, и смотръль на еще не ушедшее изъ его глазъ мірозданіе? Я думаю, что передъ нимъ раскрылась величайшая изъ постигаемыхъ на земль, и для насъ, смертныхъ, абсолютная истина — о мірѣ, о вѣчности, о Богь. Она встала передъ нимъ отчетливо и строго, не какъ милая сказка, а какъ огненная быль, мгновенно воплотившись въ объедипенномъ вихръ истекающей крови, пожара поколебленных звіздъ, змоучей тверди и духа сырой земли — вокругъ, везді — и шаткаго неба, нависшаго такъ близко! И эту суровую истину онъ унесъ съ собой изъ преждевременной могилы, когда позже, воспользовавшись предразсвітнымъ туманомъ и малой бдительностью курившихъ убійцъ, нашелъ въ себі силы, чтобы встать и біжать — по отныні новой землі, подъ разгаданнымъ небомъ — къ знакомымъ ему людямъ. Они были люди не-злые и нетрусливые. Они подобрали и спасли его.

Такъ оно теперь происходить въ Россіи. Тайну человъческаго бытія мы познаемъ не черезъ текущую жизнь, — которую у насъ отняли, которой нъть, — а черезъ застывшее мгновеніе смерти, уже смъщавшее насъ съ пылью и тлёномъ земли, и съ нашей собственной кровью. И неизръчимо пусто было бы въ моемъ сердиъ, если бы не могъ я думать, — не Твоя ли я падаль, Боже? Потому-что я знаю, что всъ мы, живущіе въ этомъ лъсномъ домикъ, занесенномъ снъгомъ, задавленномъ сугробами и близостью вереницы огромныхъ мрачныхъ зданій, населенныхъ умалишенными, всъ мы — уже сброшены въ яму. Кто изъ насъ выживетъ, спасется? Не знаю. Но, во всякомъ случаъ, не тотъ, чье сердце насыщено только злобой, только злобой...

Офицеръ же, вышедшій изъ могилы, — я видёль его, — послё долгой, мирной бесёды, сказаль мнё тихо, съ какой-то суровой покорностью:

— Струится свътъ надъ Россіей. Нездъшній свътъ! Горятъ міры. Нездъшніе міры! Пламень влекомъ къ пламени. Пламень Россіи тянется къ пламени иныхъ міровъ, — нездъшнихъ! Когда сольются обудетъ Россіи литургія — и все свершится!

Покорность приходить черезъ понимание призрачнаго бъга времени и нашего, людского, измъренія его. Человъкъ, надъ которымъ произвели кровавое насиліе, но чье сознаніе не угасло, даже тогда, когда его, еще живого, пытаются втоптать въ тявнъ земли, — либо совстить терлеть представление о времени, либо чуеть его въ порядкъ божественнаго разумвнія. Онъ узнасть, что времени нізть. Что теченіе жизни происходить не по руслу того, чего не было, что потомъ настало и вновь исчезнеть, а въ томъ, что есть, всегда было и не пройдеть. Что подобно тому, — милая школьная мудрость, — какъ природа не знаетъ ни верха, ни низа, ни правой, ни левой, такъ точно не можетъ въ ней быть ни вчера, ни сегодня, ни завтра, а только — мигъ единъ, неизмъримый, въчный, но, конечно, уже завершенный, однажды и навсегда запечатленный отнемъ божественнаго разума, огнемъ нездъшнимъ, намъ, смертнымъ, непонятнымъ. И я и могъ бы вообразить, что задумавь создание человъка и вселенней по музыкальному вдохновенію Своему, Творепъ присълъ къ небеснымъ клавесинамъ и взыграль на струнахъ думъ и чувствъ Своихъ. — и появились светила, земли, моря, деревья, птицы, звъри, человъкъ и жена его, и стали мы жить и плодиться, и было все, что было, и отъ первой юной зари до этихъ русскихъ подъвьюжныхъ ночей мы жили по неумолчнымъ новымъ повелѣніямъ могучей, грозной, непонятной и нечеловъчной симфоніи. которую Творецъ все играетъ, не отрываясь отъ орудія гласа Своего! И что и теперь мы неуклонно идемъ — къ какимъ еще голосамъ и воплямъ таинственнымь, къ какому звону, и пъснямъ, и свиръ-лямъ несказаннымъ? Я могъ бы представить себъ

такую продленную симфонію! Но совъсть — смутно, но върно, подсказываеть и мнъ, какъ тому офицеру въ дикой могилъ, что былъ лишь одинъ аккордъ, одинъ, по тайному промыслу обороненный, и запечатлънный на въки-въковъ.

И воть, я чую. Событія, войны древности, Великое переселеніе народовь, Паденіе Римской имперіи, Крестовые походы, Татарское иго, Смутное время, Французская революція, Наполеонь, вчерашняя Міровая война, Большевики въРоссіи, Всенародная расправа съ ними, Возрожденіе Россіи, и многое другое, и все, еще намъ не раскрывшееся воочію, — все это не только уже совершилось, все это было въ единовременіи, было и есть теперь, было, и есть, и не пройдеть, пока не сгоримь мы, испепеленные огнемъ сокровеннымь, оть насъ, смертныхъ, сокрытымь, нездѣшнимь... А инымь онъ раскрывается въ видѣ свѣта тихаго, возструившагося надъ Россіей...

Человъкъ, узнавши это, не понесетъ свою душу въ лживую обитель растлъннаго смиренія передъ людьми; но онъ сурово покорится для жизни новой, безбоязненной.

Чего бояться? Время — мѣдный листь осенній, сгоравшій на деревѣ, въ огнѣ холода, дождей и тумановъ. Не изойдеть онъ до срока томленіемъ, но вѣтру, бьющему его, скажеть: — Брегу дальнему, — куда ты мчишься, — скажи, что я дого рю! — А вѣтеръ, сверля и дробя его, отвѣтить: — Уже уготованы для тебя новые чертоги и шатры, на пепелищѣ старыхъ. Гряди, гряди въ огнѣ! — И въ этомъ — время! Развѣ я не чувствовалъ это, когда въ октябрѣ, стоя у окна моей комнаты, ждалъ приближенія русской арміи, тогда такой близкой, — ждаль ее и позже, когда она уходила все дальше и дальше, — и среди проклятій, и злобы моихъ, взглянувъ на умиравшую листву, подъ одинокимъ послѣднимъ лучомъ солнца, вдругъ плакалъ и мо-

лился отъ умиленія, сознавая невольно: — О, сколь блаженна эта осень!...

Ибо время — въ блаженств умиранія для новой жизни. И я знаю, что самый ничтожный листокъ, опавшій на землю и охваченный ея могучимъ дыханіемъ, пронзенный ея тлёномъ, прежде, чёмъ умереть, кадить фиміамомъ великому горёнію вселенной, и въ такой торжествующей мукё — исходить.

## Ш.

Въ тъ осениніе дни, по дорогъ ведущей вдоль опушки лъса, не столь далеко отъ моего окна, безпорядочными толпами шли красныя воинскія части; ихъ гнали на Орелъ, которому тогда угрожали солдаты генерала Деникина. Неръдко они проходили въ поздній часъ, съ наступленіємъ ночи. И иногда, заслышавъ, такой знакомый мнъ, далекій гулъ и гамъ, я выходилъ въ лъсъ, црислонялся къ стволу дерева, невдалекъ отъ опушки, и въ сумеркахъ поджидалъ ихъ появленія. Я стоялъ, ждалъ... Темнота быстро надвигалась... Скорбное, мягкое молчаніе осени окружало меня. Здъсь, близко, рядомъ со мной, — только прозрачная тишина и шорохъ упавшей съ вътки дождевой капли. И я вслушивался вдаль...

Страшно было ихъ приближеніе! Это глухое, далекое, но все возроставшее тромыханіе, похожее на тяжелый рокоть и дребезгъ многихъ мельничныхъ жернововъ, постепенно, очень медленно, разрывалось въ отдѣльныхъ высокихъ выкрикахъ, въ перекатахъ визга, хохота, пронзительнаго свиста, — снова всхлестывалось волнами сплошного гудѣнія и рева, сотрясалось бряцаніемъ и скрежетомъ винтовокъ, извергало мѣдный лязгъ, звонъ походныхъ чайниковъ и котелковъ. Но былъ одинъ странный

звукъ, все тотъ же, — хлопающій, какъ бичъ, какъ выстрель, — который все более отчетливо выделялся изъ наступавшаго гама и гомона, по мъръ того, какъ они подходили. И чемъ ближе они были, тъмъ выше и ярче онъ подымался и сверкалъ надъ общимъ громомъ ихъ надрывного дикаго говора и буйныхъ шаговъ. Короткій, повторный выкрикъ, одно лишь слово, но еще, и еще, - какъ огненные взрывы, — затопляло нещаднымъ светомъ весь ихъ неумолчный разнузданный міръ. Это было то священное для человъческой жизни слово, которое они выбрали и по-своему приспособили для облегченія своей, — какъ это въ солдатскихъ пъсняхъ говорится, — наболъвшей души. И вотъ, они проходили мимо... Мать!... Мать!... Они шли неудержно понося и проклиная чрево, ихъ носившее, и сосцы ихъ вскормившіе...

— Воюете?! — спрашиваль я нѣкоторыхъ изъ нихъ, заходившихъ въ лѣсъ оправиться, переобуться. Охваченные внезапной темнотой лѣса, они чиркали спичками передъ моимъ лицомъ, наводили на меня карманные фонарики, повышая голосъ:

— Какой такой человъкъ?!

Иные кричали, — нето забавляясь, нето серьезно:

- Здёсь и шпіонить! Волоки его къ свёту! . Но разглядівть, что я рванъ и худъ, и узнавъ, откуда я, смягчались...
- Повоюешь туть, коли ежели что... со вздохомъ выговорилъ заступившійся за меня человъкъ, — постарше, съ бородой. Другіе вразбродъ ругали войну, винтовку, генераловъ, осеннія ночи. Я робко бормоталъ, пыталсь сказать о родинъ, о врагахъ Россіи. Но тогда одинъ изъ нихъ, который въ это время стоялъ грудью къ стволу дерева и томно покрикивалъ, подражая кукушкъ, внезапно круто повернулся и, обливъ меня мочой, истошно закри-

чаль, съ хриплыми срывами въ молодомъ голосѣ; въ темнотѣ я чувствоваль, что онъ тощій, замотавшійся, бѣшеный:

— Да ты что тѣнь наводишь, артистъ?! Войну объяснить захотѣлъ! Умни, братъ, зря! Хоть я и анархистъ, но не такъ индивидуаленъ, какъ ты, собака! Война, аль революція! Польза, аль нѣтъ! Плевать!! А по-моему: заверталось — и все тутъ!

Онъ съ руганью вскинулъ винтовку за-плечи и побѣжалъ изъ лѣса, на-ходу застегиваясь и сморкаясь въ кулакъ...

- Анархистъ онъ, или коммунистъ? спросилъ я того, спокойнаго, бородатаго; въ темнотъ я успълъ приглядъться къ нему. Всъ остальные покидали лъсъ... Мы остались одни.
- Не-е-е, протянуль онь, такъ, шальной... городской, должно, человъкъ! А сказаль правильно, заверталось! Гоняють-то какъ! Туды сюды, напередъ назадъ, конца не видать войнъто!... А вы что, изъ образованныхъ будете?

Я сказаль, что я хворый и все забыль, ничего не помню. Страстно захотълось мнъ, чтобы онъ меня поучиль. Потому-что въ его спокойствім, въжливости, и въ томъ, что онъ беззлобно шелъ по родной ему земль дълать страшное, непонятное мнв дёло, мнё почудилась большая, особая народная мудрость, отъ меня скрытая. Какое-то растерянное, но острое чувство любви, почитанія и страха передъ этимъ человъкомъ всколыхнулось во мнъ. Внезапныя спазмы сдавили мое горло. Мнв показалось, что тяжкая длань Россіи испытующе легла на мое сердце, и сжимаеть его сурово, безъ сожальнія. И я такъ г сказалъ, просилъ его, — чтобы онъ научилъ меня. почему война такъ несчастно кончилась, и почему опа теперь возобновилась, братоубійственная, ненужная... Чувства мои какъ-будто передались (му; во всякомъ случав, онъ поняль мою расгерянность Я замѣтилъ, что онъ сталъ поглаживать свою бороду, искоса поглядывая на меня. Кажется, онъ почувствовалъ себя степеннымъ и умнымъ. Тиконько, пѣвуче онъ говорилъ: «И очень даже пріятно сказать вамъ!... Какъ между прочимъ не сказать!...» А потомъ — молчалъ. Передъ втимъ онъ кончилъ переобуваться, и мы вышли на опушку, мимо которой все еще шли отдѣльные, отставшіе красноармейцы. Онъ, какъ на палку, опирался на свою внитовку, поглаживалъ бороду и молчалъ. А я тревожно ждалъ, боясь, что онъ ничего не скажетъ. За опушкой я яспѣе разглядѣлъ его лицо. То было улыбающееся человѣческое лицо, выражающее пріятное отдохновеніе за умнымъ разговоромъ...

Воть что онъ, наконецъ, сказаль мнв:

— Когда Александръ Третій выгналъ всѣхъ жидовъ изъ Москвы, нѣмцы обозлились и поклялись пролить православную кровь!

И неожиданно, какъ-то значительно повышая голост, добавиль:

— Будто, одначе, будемъ теперь сдаваться генералу Деникину, — ребята сказывали!... Ну, прощайте...

Онъ отошелъ... Юродивое чувство, владъвшее мною въ течение всего разговора съ нимъ, я вытолкнулт изъ себя вонъ. Длань, давившую мое сердце, я отъ себя отторгнулъ, какъ лапу звъря. Я никому не позволю испытывать мою душу, ибо она теперь горитъ во времени грядущемъ, въчномъ! И самъ я осилю этотъ огонь...

А черезт. какую-нибудь недёлю многіе изъ нихъ шли обратно, на Тулу. Орелъ былъ запятъ бёлыми. А они, красные, бёжали.

Теперь они проходили вольнымъ сбродомъ, случайнымъ сборищемъ, босоногіе, рваные, искальченные, безъ оружія. И снова они входили въ просвътленную осеннюю рощу, снова тревожили своей

ненасытной и неутыпной бранью ея свытоволотыя блаженныя ны праводали на сырые листья, расчесывали до крови свои разыйденныя вшами ноги и тыла, тряслись на холоды, стонали, болыли тутыже, — походя, между прочимы, — и разсказывали о разномы, о многомы, и все-больше о вздорномы.

Слышаль я тогда:

— Взяли мы одного ихняго въ пленъ, — за Орломъ эта! Ну, конечно, хотели порешить. А онъ разжалкился, плачеть, да на кольни! «Товарищи, г-рить, православные, г-рить, — запутался сволочь, и сказать какъ — не знаетъ! Ну, а мы съ немъ портки-то сняли, а въ ней золото, ей Богу! Имперіалы, ли поламперіалы, — я ужъ и забыль, чорть, какъ ихъ звали. Все николаевскіе, двадцать ровно штукъ. Хорошо... Ну, сказывай, г-римъ, откедова это ей у теб'в быть! А онъ — раньше, какъ трясси, а туть смирный такой, да въ божьбу истинную! Чего ты съ нимъ сдълаешь! Клянется, - г-рить, генераль Деникинь это на кажинную крестьянскую семью... ну, и сахару тамъ сколько хошь, а ужъ хльба былаго не откажись! Ну, отпустили его, да-а, - потому, можеть, человъкъ правду сказаль... Да и деньги — к-кой чорть, не фальшивыя, а върныя, потому Митька Хворостовъ, тамошній онъ, курскій, схапаль ихъ всь, сукинъ сынъ, да наутекъ домой, черезъ ихъ то-исть, бълыхъ... А можеть, и навраль этоть человекь, кто его знаегь, — хитеръ, прикидчивъ былъ, сволочь! А, да ну и пропади-же ты пропадомъ эта самая комунія, потому хуже все одно не будеть, - хоша-бы и навраль тотъ человъкъ насчетъ сахару, да денегъ энтихъ...

А потомъ настала зима... Сначала нѣсколько неподвижныхъ бѣлыхъ дней, какъ-будто изваянныхъ изъ легкаго камня... Неожиданно въ воздухѣ закружило снѣжной пылью и юными снѣжинками. А затѣмъ, снѣгъ повалилъ большими хлопьями, и въ

нѣсколько дней сугробы окружили лѣсной домикъ, надвинулись на окно моей комнаты... А они все шли, да шли по дорогѣ — и теперь уже въ оба направленія. На Орелъ, оставленный бѣлыми, двигались большія части, обозы. А къ Тулѣ пробирались всякіе немощные отбросы солдатчины, мелкія оголтѣлыя скопища — безоружныхъ, раненыхъ, отпускныхъ и бѣгунцовъ. И теперь они говорили:

- Мы за имъ, а онъ отъ насъ!
- Я не сразу понималъ:
- Какъ такъ?

#### А они поясняли:

— Мы, значить, за имъ, бъгомъ, да на-ура, чтобы, значить, сдаться. А онъ по-своему не понимаеть, да опять-же бъгомъ, да на-утекъ, боится, душа его песья! Ну, а потомъ, какъ онъ до Курска откатился, — мы-то, значить, побъдили, — смотришь, въ два дии бълой булки и не сыскать! Все, стерва, съ собой увезъ!

И когда они покидали лѣсъ, я смотрѣлъ имъ вслѣдъ и видѣлъ, что вѣтромъ ихъ въ полѣ валяло и долу клонило, какъ замотавшуюся, надорванную ветошь... А тѣ, которые шли на Орелъ, были еще злѣе. Ихъ злили морозы, пѣшіе перегоны, недостатокъ хлѣба, и то, что, — какъ они говорили, — войнѣ конца-краю не видать. И отъ этихъ я только и слышалъ: «Сволочь-комиссары... большевики... коммунисты... жиды!...». И все-таки они шли, да шли, ничего не понимая, все проклиная, — потому-что что заверталосъ!...

Въ этомъ безвольномъ круженіи ихъ плоти, въ которомъ и сами они находять, и по всей родной имъ землѣ разносять болѣзнь, одичаніе и смерть, перегораеть все тѣло Россіи. И какъ же неистребима ихъ мука! Уже они и образъ человѣческій потеряли, и ничего впереди не различають! И время идеть

впередъ съ неслыханной, взбаламученной быстротой! Ибо время есть страждущая плоть.

## IV.

Бълыя равнины, лъсъ, кудрявая густая изморозь, на деревьяхъ, телеграфныхъ столбахъ и проволокъ, а вдали, на дорогъ — далекіе обозы и всадники... Какъ все въ Россіи, въ эти дни, ногами уходить въ самый смрадъ и тлънъ земли, а головою касается неба, — такъ и эти обозы, всадники, зажигаясь и растекаясь въ солнечныхъ нъдрахъ воздуха, кажутся мнъ необыкновенно большими, великими!... Утромъ — небо бледно-синее! Утромъ въ груди слабая утренняя мечта о жизни! Верхушки деревьевъ, кружевныя, хрупкія, не шелохнуть. На стволахъ, послъ ночной выоги, ровные, бълые лампасы. Нёсколько поодаль отъ опушки, столь мнё знакомой, отдёльно стоять три дерева, расположеніемъ и очертаніями своими напоминающія прекрасную нъжную арфу; это излюбленное мъсто красноармейпевъ...

И это все, что я вижу. Этимъ, какъ будто, замыкается мой міръ. Я не вижу Москвы, Парижа, Женевскаго Озера, и многихъ другихъ мѣстъ, гдѣ терпѣливо, спокойно, подчасъ и многострадально, но
всегда свободно, я воздвигалъ свою жизнь. А по ночамъ, — по ночамъ все ясно, — мнѣ иногда грезится, что ни Москвы, ни Парижа, ни Женевскаго
Озера, нѣтъ на свѣтѣ! Но вѣдь я не вижу и той деревеньки съ дальними выселками, — черной, обезлюженной, мертвой, — на которую я на-дняхъ глядѣлъ съ другого края лѣса, черезъ просвѣты голыхъ
стволовъ; не вижу и самаго этого мѣста, гдѣ я стоялъ, на лѣсномъ пригоркъ, надъ обширной снѣжной
долиной, — а въ ней, какъ въ лебяжьемъ пуху, то-

нули и черная деревенька, и болѣе возвышенныя и отдаленныя выселки, осѣненныя блѣднымъ ладаномъ воздуха. А вѣдь тамъ я слушалъ зимнее вздрагиваніе лѣса, металлическій шелестъ уцѣлѣвшей на вѣткахъ листовой ветоши, и эту скорбную тишайшую тишину: Русь!... Русь!... Русь!... А вѣдь и жена моя была со мною, — и, еще, она сказала мнѣ: «Поищемъ заячьихъ слѣдовъ!...»

Такъ оно и съ временемъ, которое мы поджидаемъ... Боже, нужна ли Тебъ еще моя злоба? Какъ Москва, какъ Женевское Озеро, какъ деревенскія выселки, время новыхъ событій и дѣлъ остается скрытымъ отъ моего плотскаго взора, но пребываетъ, уже завершенное, вѣчное, у Тебя! Не уклони же отъ меня, послѣдняго изъ сыновъ Россіи, сладостныхъ мукъ покорнаго ожиданія, не уклони всѣхъ Тебѣ нужныхъ мукъ, — доколѣ не увижу освобожденной Россіи...

Ибо время, это — мы! Въ многообразіи видимыхъ формъ человѣческой муки на землѣ есть Чьето единое невидимое Тѣло, распростертое надъ вселенной, пронзающее ее, смѣшавшееся съ ней непонятно, и содрогающееся въ насъ, въ животныхъ, въ растеніяхъ, а можетъ быть, и въ бездушномъ камнѣ. И такъ Оно горить, и изливается тихимъ свѣтомъ во времени человѣческомъ. Такъ это видѣлъ тотъ человѣкъ, непомѣрно страдавшій и брошенный въ яму, съ просвѣтленнымъ сознаніемъ. И я, вмѣстѣ съ нимъ, разумѣю, что Творецъ выставилъ надъ міромъ Свою неисповѣдимую Свѣчу, возженную съ двухъ концовъ — и всегда Она горитъ, всегда есть начало и конецъ, и всегда Она — вся! И это есть Время.

Ибо времени нѣтъ, но есть Живое Время! Христосъ родился человѣкомъ, жилъ въ бѣдности и скорби, умеръ на крестѣ нашей, человѣческой, смертью, и воскресъ Богомъ. И тотчасъ-же постигъ пространства будущаго, и вспять потекъ. И стало такъ, что Онъ быль всегда, — и тогда, когда Его не было, — до земного рожденія Своего. И воть, всѣ времена будущаго и прошедшаго вращаются вокругъ Него, въ огненныхъ сферахъ, исполненныхъ восторженныхъ красокъ и блаженныхъ звуковъ. И воть, сталъ Богъ навсегда и былъ всегда.

Какъ же мив теперь не понять, что съ 1-го марта 1919-го года, когда я впервые бъжалъ изъ Москвы и, затымъ, по-очередно бросался — то въ Петроградъ, навстръчу финляндцамъ, то въ Минскъ, навстръчу полякамъ, то въ Саратовъ, къ генералу Краснову и, наконецъ, сюда, къ генералу Деникину. я только и пълалъ, что бъгалъ за несуществующимъ временемъ! Что нашелъ я въ Петроградъ? По опуствлымъ улицамъ этого города, низко и гадоподобно стелясь, носится безкрылая мечта о тридцати серебреникахъ. Она дана Россіи геніемъ жестоковыйнаго народа. А что увидель я въ Минске? Пустую, загложшую тэнь заколоченнаго дома... гдъ простая быль недавняго прошлаго безпріютно, какъ нишенка, скиталась и ломала свои руки. Ни звука, ни шороха. А когда-то тамъ резвились и учились дети... А за мостомъ, у большой угловой церкви, — особые люди съ ястребиными глазами, неугомонные развъдчики новой власти, следяще за прівожающими. Не надо. — предупреждають такъ добрые люди, — снимать шапку передъ храмомъ. А въ Саратовъ... зловонное мъсиво прожженной солнцемъ земли и кислаго перегноя животной падали, клубы трупныхъ испареній. А по Волгѣ доносятся человъческіе трупы, изъ Самары, и воспаленное смертное дыханіе Царицына, откуда... я ждаль спасенія! И злівсь наконецъ, -- все, что мив осталось: близость живого безумія, сугробы, равнины, нѣжность смрадной арфы изъ голыхъ деревьевъ и черная, мертвая деревенька, где-то въ стороне... Воть и все.

Воть и все. Новые правители Россіи созывають въ Москвѣ очередной съѣздь, — седьмой, кажется, по счету. На сей разъ онъ будетъ названъ «Съѣздомъ Побѣды». Возможно... Но по ночамъ, когда все ясно, — вотъ, какъ хотя-бы теперь, — я гляжу изъ окна моей комнаты на обледенѣлую снѣжную равнину. Подъ луннымъ блескомъ она разительно напоминаетъ ночную поверхность Женевскаго Озера. А кто изъ Швейцаріи видитъ эту равнину? И кто оттуда видитъ, въ неизъяснимой дали и близости, тайну недобитаго русскаго воина — Живое Время, распростертое надъ вселенной, пламенѣющее, пронзающее ее Собою, и возструившееся надъ этой равниной свѣтомъ тихимъ?

И пусть отчаяние еще не разъ теснить во мнв ясное разумъніе! Пусть я еще ослабью, и поплачу, и позлобствую! Пусть, въ этомъ одиночествъ, среди всеобщаго одичанія, еще не одинъ разъ скажу: «Воть онь, этоть народь, не любящій свободу, воть его мертвое сердце, воть до чего онь дожиль! Ахъ, дайте ему, — кто бы вы ни были, — хлъвъ свиной. кость собачью... — и отпустите меня на волю!». И пусть въ будущемъ, когда все это минетъ, или если мив суждено уйти отсюда до срока, пусть я еще стану здоровымъ, умнымъ, разсудительнымъ, образованнымъ и, — какъ всв они, тамъ, — ничего не знающимъ или все забывшимъ! Но да погибнетъ тогда эта растявнная душа во времени преходящемъ, нелепомъ и дикомъ, какъ недостойная той Тайны, которая открывается мив... воть и теперь, въ этихъ пылающихъ льдинахъ, за окномъ моей комнаты!

Потому что, во всякомъ случав, самъ человвиъ, вмъстъ со своей земной человъческой жизнью, есть только невъдомая живая матерія, мягче и горючье воска, невъдомая плоть, сгорающая въ рукахъ суроваго Творца, какъ огарокъ копьечной свъчки,

вспыхнувшій сразу весь, ціликомъ, на дні полой плошки. И мив, видвишему былый свыть сивговыхъ равнинъ и синюю льдяную даль замерэшихъ ръкъ, и эти сугробы, задавившіе мой домъ, окно моей комнаты, откуда я гляжу на дорогу, и мое сердце, какъ тяжкимъ пухомъ... — мое сердце, скованное въ недоумъніи, въ грусти и въ предчувствіи грядущей последней муки, такой сладостной... — мне нельзя не славить Его, Вседержителя, Бога, за то, что Онъ покрутиль меня, какъ въ зиму уцълъвшій и засохшій листь, по русской земль, и, затьмъ, пригналь сюда, куда надо было. Что-жъ, — въ скорбномъ сознаніи извічнаго самообмана, въ величіи побіды надъ самимъ собой, буду еще бродить среди времени, котораго нътъ... и кружиться, и бъжать, и останавливаться... и падать и, вставши, снова итти туда, безстрашно, къ желанному концу, — да сбудется и для меня, человъка, уже завершенный божественный аккордъ, однажды раздавшійся, подъ пальцами Творца, съ небесныхъ клавесинъ!

Спасо-Петелино, 1919-20 г. — Парижъ, 1924 г.

#### БЕЗЫМЯННОЕ

I.

Зима продолжалась безнадежно долго. Ежедневно — леденящіе вътры, буйное упрямство морозовъ. Суевърно, безотчетно, я пересталъ върить въ наступленіе лучшихъ дней. Ежедневно, — въ страхъ думалъ я, въ мартъ, — могучее зданіе зимы добъла раскаляется собственной мощью, нътъ въ немъ милосердія къ ничтожеству человъка, и возносится оно неудержно — все выше, все шире! Внезапно, въ одно притихшее утро, когда солнце заволокло сърой мглой, природа рухнула съ большой высоты, размякла и расползлась. И наступила весна, полная гнилостныхъ испареній разбухшей городской ръчонки, насытившихъ воздухъ какимъ-то искусственнымъ, ватнымъ, удушливымъ тепломъ. То, что пугало и сковывало, — исчезло. Начиналось другое.

Днѣпръ былъ близокъ... Ночью я услышалъ кропотливое громыханіе его сѣдой и неутѣшной древности, это медлительное обсасываніе скованныхъ
нѣдръ, съ обычнымъ дряхлымъ сопѣніемъ и торжественнымъ свистомъ. Я ждалъ весеннихъ потоковъ
и сверкающихъ разрывовъ лазури; но небо оставалось близкимъ и непрогляднымъ; сѣро-желтый туманъ густѣлъ и тяжелѣлъ; и навстрѣчу веснѣ поднялась одна лишь безымянная, черная рѣчонка,
вертляво струившая свои гнилыя воды межъ нищен-

ски-грязныхъ и убогихъ городскихъ побережныхъ склоновъ. Она издревле служила цёлогоднымъ свалочнымъ мёстомъ для всёхъ отбросовъ и помоевъ жилищъ, людей, животныхъ, и съ первыхъ же теплыхъ дней (и до будущей зимы) принималась дышать на городъ своимъ исконнымъ безобразіемъ, всёми расцвётшими печистотами своихъ глубинъ. По узкому деревянному мостку, четыре раза надень, проходилъ я мимо этой рёчки, и всякій разъдивился упорному, съ весенней бойкостью клокотавшему въ ней, постылому и гнойному броженію. Зачёмъ оно? Къ чему это растлённое взытраніе захирёвшей, гиблой и невёдомо зачёмъ обновленной жизни?

Это происходило въ 1920-мъ году, въ губернскомъ городъ М., расположенномъ по холмистому берегу Дивпра, въ тридцати-сорока верстахъ отъ военной польской границы того времени. И напрасно проливались теплые дожди, лелья нъжное цвътеніе жизни, трепеть первыхъ листочковъ, — и шумъла весенняя капель, кричали птицы, оттаивали и бойко неслись по водосточнымъ канавамъ городскія лужи. Напрасно — въ иные дни, къ самому вечеру въ далекомъ громъ скрытыхъ, заоблачныхъ взрывовъ, накалялось и пламенъло небо, и тогда нежданно, въ сумеркахъ — свътлъли и желтъли зеленая прыша и мелкія, расписныя маковки стариннаго Городского Собора. И уже не вздрагивалъ Дивпръ въ старческой немощи, не надрывался въ закованномъ плененіи, а были тревожныя ночи затишья, когда оттуда неслися хрустальные перезвоны и нъжное пъніе давно возжеданной и близкой побѣды... Напрасно! Люди не откликались и не могли откликнуться на первые зовы и проблески весенней поры.

Въ тъ дни, въ городъ М., — какъ, впрочемъ, и по всей Россіи, — все еще продолжалась та назой-

ливая бевтолочь — безсмыслица — твхъ самыхъ такъ называемыхъ историческихъ событій, о которыхъ даже ученые историки, обыкновенно, только всего и могуть сказать, что они «разворачиваются». И было какое-то проникновенное, немилосердное сходство, было что-то неотразимо и мучительно общее въ тлетворномъ угаръ, разносимомъ по городу ничтожной рачкой, и въ смутныхъ, растерянныхъ мысляхъ и чувствахъ, бродившихъ въ людяхъ, въ связи съ событіями ихъ жизни. И весны какъ бы и не бывало. Въ недвли великаго поста люди жили затаенно-озлобленные, но застывшіе въ недоум'вніи, въ безвольной покорности, ничего не ожидая отъ самихъ себя, но мечтая о приходъ иностранцевъ, какъ о спасеніи, --- жили въ этомъ сгущенномъ, чреватомъ гнойными парами, воздухъ, и прислушивались къ вътру, свиръпо-разгульному подъ низкими тучами. Въ пасхальную ночь, на 11-ое апръля по новому стилю, на небѣ не было ни одной звѣзды.

## II.

Какъ то разъ, вскорѣ послѣ пасхальной недѣли, я шелъ по главной городской улицѣ, шелъ не торопясь и погруженный въ свое обычное тогдашнее раздумье. Долженъ ли я признаться, что въ тѣ дни оно постоянно пребывало на грани, отдѣляющей полнѣйшее отчаяніе отъ какой нибудь ослѣпительной и безсмысленной мечты, которая вотъ-вотъ должна сбыться и преобразить всю жизнь въ прекраснѣйшую сказку, въ невыразимую радость. На этой грани, въ какое нибудь одно такое мгновеніе, человѣкъ то воображаетъ себя неодолимо живучимъ, безсмертнымъ, а то сознаетъ, что сердце его бъется неизвѣстно зачѣмъ, безъ смысла, безъ цѣли, — и тогда-то онъ жутко угадываетъ безпощадный бѣгъ времени,

часы текущіе въ невъдомое море небытія, жизнь тихонько отходящую къ смерти...

А вокругъ меня двигалась все та же толпа, къ которой, за три года, я успыть приглядыться, все тѣ же люди, грязные, потные, безкровные, разслабленные голодомъ и страхомъ. Неръдко, по одеждъ, нельзя было опредълить пола человъка. А возрастъ, а прожитые годы людей, какъ то и вовсе не замъчались. Попадались совсъмъ юныя, даже дътскія лица — со стариковской печалью въ глазахъ. Попадались совствить юныя, даже детскія лица съ глазами профессіональныхъ проститутокъ, воровъ, убійцъ. И попадались еще старики, несшіе на спинъ тяжелые мъшки — съ хлъбомъ ли, съ рухлядью ли какой нибудь, для обмина на хлибь; они останавливались черезъ каждые два-три шага, оглядывались на незнакомыхъ людей, окликали ихъ, бормотали о своемъ, о непонятномъ, и сменлись смѣялись, съ младенчески неосмысленной радостью въ слезящихся глазахъ... Я помню одного изъ нихъ, древнвишаго, прозрачно-свытлаго, какъ лунь, низкорослаго, и какъ будто веселаго. Онъ звалъ меня, онъ упорно окликалъ и манилъ меня, смѣшно дѣлая губами «пс-с-съ» и маша въ мою сторону необыкновенно маленькой ручкой на короткомъ локтъ. А когла я подошель къ нему, онъ съ дътской торопливостью прильнулъ ко мнъ, обхвативъ мои плечи, — и, потянувшись къ моему уху, сталъ кричать все только одно: «Эвона-а! Эвона-а! Во-о какъ! Эвона-а!». Я отошель отъ него съ сильно быющимся сердцемъ. какъ въ дътствъ, когда просыпался отъ тревожнаго сна.

Я шелъ не торопясь, дышалъ тяжелымъ духомъ городской мостовой и толпы — и старался не думать ни о чемъ опредвленномъ. Бываютъ такія минуты, когда знаешь, что ближайшая мысль таитъ въ себъ непоправимую катастрофу для того настояща-

го, хотя бы и самаго мрачнаго, къ которому все еще хочешь прилѣпиться. А я боялся сорваться съ моей грани — между послѣднимъ отчаяніемъ и внезапной вѣрой въ спасеніе черезъ чудо.

На всъхъ лицахъ, на старыхъ и молодыхъ, я видълъ слъды ежедневныхъ неутолимыхъ болей и страстей. И я зналь, что изъ всвук окружавшихъ меня страстей человъческихъ — самая неутолимая, самая страшная, была животная неудовлетворенность всвхъ техъ, кто въ прошлой жизни были наиболе равнодушными, покорными, тупыми; такихъ было большинство. Я зналь еще, что многіе изъ нихъ, по природной ли дикости, или по осознанному злому желанію, перешагнули черезъ мою грань, провалились въ пропасть, для которой у меня не было ни имени, ни облика, ни даже прямого предчувствія, н — какъ живые мертвецы — ходили теперь по земль, жили среди насъ, дълали свое дъло. И я радовался ихъ появленію на улиць, потому-что такъ ужъ нужны мнв были хоть какой нибудь исходъ для отчаянія, злобы, и пища духовная для въры въ чу-ДО.

Они проходили мимо торопливымъ легкимъ шагомъ, — какъ будто невольно неслися! На нихъ были гетры, заграничныя гетры-обмотки, и все тъ же старыя русскія шинели — цвѣта выжженныхъ солнцемъ прифронтовыхъ песковъ. За спиной, на ремняхъ, — винтовки, штыки. А на головахъ — особые картузы, впервые появившеся на русскихъ улицахъ въ послѣдніе мѣсяцы 1917-го года. То были обыкновенныя шалки изъ поддѣльнаго сѣраго барашка, круглой русской формы, съ неуклюже пришитыми къ нимъ прямыми не-русскими козырьками, очень широкими и длинными. Эти козырьки, — я замѣчалъ, — на улицахъ пугали лошадей и — вѣроятно, въ иныхъ мѣстахъ, думалось мнѣ — вызывали дѣтскій страхъ въ обезсиленныхъ людяхъ, ведо-

мыхъ на разстрѣлъ. Позже, эти ублюдочныя полурусскія шапки были замѣнены особыми шлемами со звѣздой Соломоновой...

Когда, приглядѣвшись къ нимъ и послушавъ ихъ говоръ, я убѣждался въ томъ, что они русскіе (не латыши, не китайцы какіе нибудь, а тѣ самые люди, которыхъ я, съ первыхъ проблесковъ разумнаго сознанія, привыкъ считать родными мнѣ, въ вѣрѣ и въ духѣ), когда я убѣждался въ этомъ, — я мысленно называлъ ихъ хамами! И туть-то передо мной открывался большой просторъ для исхода моего отчаянія, туть-то и разгоралась моя вѣра въ чудо...

— «Хамы, — говорилъ я себъ, — злые хамы съ мертвымъ сердцемъ, — которые погибнутъ, спаленные внезапнымъ праведнымъ гнѣвомъ народа! О. звіри, дикіе, тупые, поправшіе Христову правду, куда такъ лихо идете? Къ погибели своей идете! Она поджидаеть васъ воть туть, за поворотомъ этого переулка, гдф встанутъ передъ вами, въ бъломъ благостномъ огнъ, отнынъ всесильныя жертвы вашей злобы. О, хамы, хамы тупые! Воть туть, за поворотомъ этого переулка, на площади, возставшіе преградили вамъ путь! Идите же впередъ своимъ витаюнадъ бездной шагомъ, пройдите еще дешимъ последнихъ кровавыхъ сять шаговъ. шаговъ. хамы, дикіе, тупые!... Вы надёли на себя благородное облачение... старую шинель испепеленныхъ мертвецовъ... тъхъ, доблестно павшихъ, незабвенныхъ... Въ долголътней народной страдъ, въ темныхъ окопныхъ водахъ, и подъ солнцемъ, среди песковъ, въ пеплъ, въ огнъ и въ крови великихъ наступленій и посл'ядняго безсилія — она истрепалась. Вы надъли ее на себя — и ръшили, что сами вы вонны! А я кричу вамъ: убійцы! И сосъдъ мой. и всв мы — каждымъ ударомъ сердца — кричимъ вамъ: убійцы! — пока не исчезнете вы за этимъ пороротомъ, и увидите площадь, а тамъ — милліоны людей, возставшая Россія, весь праведный бълый міръ! О, хамы, тупые хамы!...».

А велъ ихъ — обычный предводитель хамовъ — человівь съ поддёльными глазами: такъ и казалось, — они у него не свои, а изъ стекла! Онъ не подымаль эгихъ глазъ на толиу, а по губамъ его скользила неопредёленно-затаенная улыбка. Шедшіе позади него — несли винтовки, штыки, а онъ — простую клижку для записей, въ сёромъ полицейскомъ переплетв! Онъ шелъ впереди — и если и рёшался поднять глаза, то только для того, чтобы вглядёться въ дали, въ свои дали! И видно было, что онъ хотёлъ, чтобы всё это замётили: ему не до толпы, у него свои дали!...

— «Этотъ, — говорилъ я себѣ, чувствуя, что блъженно задыхаюсь отъ приближенія бѣлаго чуда, — этогъ никогда не учуетъ праведнаго біенія сердца народа. Но онъ первый увидить — площадь!».

Я смотрѣлъ на него, на его блуждающую улыбку, и видѣлъ, что онъ шагаетъ впереди другихъ, самъ собою удивленный, но — впрочемъ — бодря себя и черпая силы въ чванной и духовно нетрезвой увѣренности, что иначе оно и быть не могло. Нестрашный опъ человъкъ, не храбрый даже, но — дѣланно-отчаянный! Тотъ самый, о которомъ было сказано ветхой мудростью Соломоновыхъ притчей:

«Какъ притворяющійся помѣшаннымъ бросаеть огонь, стрѣлы и смерть,

«Такъ — человѣкъ, который коварно вредитъ другу своему и потомъ говоритъ: «я только пошутилъ». (Книга притчей Соломоновыхъ XXVI, 18-19).

А я-то блаженно задыхался, въ предчувствіи чуда! Мнѣ было стыдно за себя, за моего сосѣда и за всѣхъ насъ, съ этимъ затаеннымъ молчаливымъ проклятіемъ въ сердцѣ, и мнѣ начинало казаться, что даже эти самые дикіе хамы, дикіе звѣри, должны внезапно опомниться... гикнуть... свистнуть въ затылокъ своему предводителю — и тогда то, по-настоящему обезумъвшій, онъ побъжить, побъжить... Что это?! Вѣдь, воть — замѣчаль я — уже и теперь онъ не идеть, а какъ-то неестественно торонится, спѣшитъ, слишкомъ-ужъ стараясь оставаться впереди, да впереди! Точно опасается быть настигнутымъ тѣми, другими! Точно страшится ихъ слишкомъ близкаго дыханія... этой души ихъ, которая можетъ возмутиться?! Что это?! Съ нами крестная сила!... Ура-а!...

Но никто не гикалъ и не свисталъ... А шелъ я въ чуждомъ и ненужномъ мнѣ городѣ, шелъ своей подневольной тропой, по грязному тротуару, среди нищихъ людей, и дышалъ затхлостью вешнихъ водъ разбухшей рѣчонки, всей этой взбаламученной нечистью и падалью сокровенныхъ глубинъ и закоулковъ города — и всей жизни! И вспоминался мнѣ странникъ... одинокій путникъ, видѣнный мною, мочить сосѣдомъ и всѣми нами — давнымъ-давно, въ иллюстрированномъ журналѣ для дѣтей...

Это только картинка:

Въ пустынъ далекой, таинственной, среди сърыхъ песковъ и непроглядныхъ далей, невърныхъ для ногь и для глазъ человъческихъ, одинъ подъ небомъ, одинъ дерзающій, онъ шелъ своей дорогой, стремяся къ бълому городу потусторонпредвловь пустыни. По замыслу гордой воли, презрълъ онъ людей и обычную трусливую стезю обходныхъ тропинокъ. Его мучили знойныя вьюги песковъ, неутолимая жажда и обманчивая близость убъжищь, какъ призракъ встававшихъ передъ нимъ въ пыли неуловимыхъ окраинъ. Обезсиленный, онъ все же шелъ по-своему — впередъ и прямо — и добрель до м'вста, гдв зыбучіе, топкіе пески раскрывались подъ нимъ, при каждомъ шагѣ, и оседая, ускользая, стали затягивать его въ свои нъдра. Это не мгновенное безсиліе его ногъ. Нътъ.

это близость смерти. Теперь, куда ни ступи — впередъ ли, назадъ ли - вездъ все та же близость смерти, Медленно, страшно медленно поглощають пески его ступни, ноги, колена, животь — обхватывають грудь, сдавили сердце... Но не сдастся до конца мечта человека, не сдадутся безумные, отъ выоги и муки ослепшіе глаза — и видять они, видять... волшебный миражъ своихъ грезъ, воздушный благостный градъ, обвъянный брызжущей влагой, сіяніемъ радуги водъ живыхъ и райскихъ садовъ. Скажите же, дъти: — Все благо! Онъ гибнеть, прекрасный, — какъ въ путь пускался! Уже посътиль его бълый призракъ былыхъ сновиденій, и смерть близка - и закрываеть его примиренныя очи. И снова, какъ при исходъ, ему снится благостный градъ: ему — безумцу — одному!

Парижъ, 1926 г.

# морды

T.

...Еще недавно, — такъ размышляль я, безцвльно и съ опаской шагая по центральной улицъ губернскаго города М. (въ тридпати-сорока верстахъ отъ военной польской границы того времени), - еще недавно, когда не предвиделось конца леденящимъ вътрамъ, я глядълъ на башлыки краснощекихъ латышей.... и на то, какъ они «прекрасно чувствуютъ себя», выводя на улицу по-утру арестованнаго офицера, желтаго отъ безсонницы, въ рваной солдатской шинели. Я глядъль на башлыки, я грызъ свои губы, самъ дрожаль отъ холода, и не зная какому богу взмолиться, шенталь: — «Есть что-то идіотское вь русской зимь!» — И оть этого мнь становилось легче. А теперь, воть уже четвертая недёля, оттепель, все еще глухая оттепель! Льють воды, и птицы кричать, — а солнца нъть! И лица все тъ же — и картузы — и винтовки! Тоскливо — и грязь непролазная! Моя квартирохозяйка, старуха Острогорская (она дочь священника, овдовъвшаго и ставшаго архіереемъ, и сама вдова мъстнаго педагога, статского советника) такъ отзывается объ этомъ времени: — «И скучное, и поганое — и летить!» Однако, делать нечего! Нужно жить и ждать. Нужно сидъть дома, въ зачарованномъ выжиданіи, или безцъльно, съ опаской, бродить по улицамъ, подгоняя время къ торжественному завтра. А почему оно будетъ торжественнымъ, объ этомъ никто ничего не знаетъ. Я върю, вмъстъ съ другими и такъ же, какъ они, — не зная...

Я миноваль небольшой садикь, прилегающій къ зданію Городского Театра... Миноваль его, — но потомь, замѣтивь возвратное наступленіе патрулирующихь хамовь, со скачущимь впереди предводителемь, раздумаль (не все у меня было въ порядкѣ по части совѣтскихь документовъ), поворотиль назадъ и, обогнувь зданіе театра, вошель въ печальный, малотѣнистый садикъ. Весенняя зелень, точно ее поливали купоросомъ и травили сѣрнымъ дымомъ, чахоточно ржавѣла и блекла, съ нѣжной укоризной вывая къ желто-пепельному небу, къ сумрачной тыловой стѣнѣ театра — и ко мнѣ, не посмѣвшему присѣсть на скамью, но прижавшемуся, стоя, къ этой стѣнѣ,подлѣ сѣней, гдѣ «входъ для артистовъ».

Этоть садикъ, слыхалъ я, въ былыя времена такъ и назывался — Театральнымъ! Но позже случилось такъ, что онъ былъ названъ по имени (точно не помню) Карла Маркса, Розы Люксембургъ, Урицкаго, Володарскаго, или еще какого-то іудея, жившаго чтобы смущать наивное человъчество неистовствомъ своей древней мечты о золотомъ тельцъ. Не тогда ли садикъ этотъ и пріобрълъ — впервые! подлинное бытіе въ воображеніи этого предводителя хамовъ, теперь угрожавшаго мив нескромнымъ допросомъ? Не тогда-ли примерещилась ему и особая, тоже единственно-подлинная Россія, милая его сердцу? И кто же, какъ не такая Россія — позволила ему зашагать, съ торопливымъ прискокомъ, впереди русскихъ воровъ и убійцъ, сохраняя увъренность, что, поистинъ, неистовство древней мечты о золотомъ тельцъ всегда и всесильно довлъло міру хамовъ?

Стоя такъ, прижавшись къ «входу для артистовъ», я вспоминалъ:

На подмосткахъ этого театра, весьма недавно, во время представленія, умерла молодая артистка Казанская. Шелъ «Отелло», она играла Дездемону. Отелло хваталъ ее за руку и рычалъ, будя премавшихъ въ партеръ красноармейцевъ и «серьезно интересуя, съ точки зрвнія классовой исихологіи» сознательный пролетаріать. (По собымь містнымь, этнографическимъ условіямъ, совнательность пролетаріата въ городь М\*. носить массовый, повальный и, такъ сказать, стихійный характеръ, — нъчто вродъ затяжной эпидеміи, которая, Богъ дасть, со временемъ пройдетъ). Отелло рычалъ, Яго нашептывалъ коварныя слова, а Казанская слушала ихъ. показывая пролетаріату свои невинно-неподвижныя плечи. Внезаино, она по настоящему пошатнулась, стала маленькой, пришиблениой, поднесла руки къ смертельно побледневшему, сквозь сценическія румяны, лицу и, — вмъсто поющей элегической реплики, — тихо, просто сказала: — «Мив плохо... Прошу васъ!» — Пока опускался занавъсъ, ее провели за кулисы, гдв сразу смолкла буйная радость, царившая тамъ въ связи съ ожиданіемъ ящика замороженныхъ гусей — изъ Оренбурга, черезъ Москву, по особому ходатайству передъ товарищемъ Луначарскимъ! Ее подхватилъ на руки ошеломленный трагическій резонерь и благородный отець, только что передъ этимъ кричавшій, по поводу ящика: —«А я этого гусака — да въ нунъ ноцелую!» — И на его рукахъ, какъ-то неестественно быстро похолодъвшая, она затихла, застыла... скончалась. Умерла, — объясняль потомъ локторъ, — отъ паралича сердца, отказавшагося биться, въ связи съ хроническимъ недоъданіемъ, съ безкровіемъ....

Подруги перенесли ее на-домъ, въ номеръ гостиницы, омыли тъло, и одъли покойницу въ лучшее

платье — изъ тъхъ, что упълъли въ ея «гардеробъ»: черное, шелковое, съ кружевной отдълкой, въ которомъ недавно она нравилась многимъ живымъ; она была и молода, и хороша собой! А потомъ послали телеграмму тому, кто почитался ея мужемъ, въ одну изъ столицъ, — и похоронили ее въ трехъ, самими артистами, друзьями покойной, кое-какъ подпиленныхъ и сколоченныхъ доскахъ, трехъ доскахъ, выданныхъ (за деньги!) по особому и съ трудомъ полученному ордеру отъ комиссаріата народнаго здравоохраненія и общественнаго призрынія. Въ трехъ доскахъ, говорю я, а не въ четырехъ, потому-что четвертая доска, гробовая крышка, была «упразднена» большевицкой властью, какъ буржуазный предразсудокъ... Сказано было намъ, что тъло наше взято изъ тлъна, и что закончивъ свои земныя странствія, оно падеть на землю и снова въ тленъ обратится. Не думаю, чтобы объ этомъ особо помнилъ и какънибудь дополнительно объ этомъ говорилъ — Карлъ Марксъ. Возможно, конечно, что его самого, какъ еврея, похоронили безъ всякихъ досокъ, — и, какъ сопіалиста, въ какомъ-нибудь красномъ саванъ. Я не знаю... Но почему въ періодъ «коммунистическаго хозяйства», совътская власть отказывала въ гробовомъ прикрытіи замученнымъ и умерщвленнымъ ею христіанамъ? Я спросиль бы объ этомъ совѣтскую власть, если-бы во миъ жило наивное желаніе о чемъ бы то ни было разспрашивать советскую власть.

Телеграмма въ столицу шла двѣ недѣли. А когда мужъ, наконецъ, пріѣхалъ и побѣжалъ на кладбище, то тамъ онъ нашелъ — пустую могильную дыру, въ которой не было ни тѣла его жены, ни шелковаго платья, ни, даже, трехъ совѣтскихъ досокъ. И пришлось ему узнатъ, что дня черезъ два-три послѣ по-хоронъ, одна изъ подругъ умершей увидѣла погребальное платье покойницы — на толкучкѣ, на рукахъ китайца, палача мѣстной чрезвычайной комис-

сіи, — что артисты всполошились и донесли въ бывшій участокъ, — что могилу разрыли и удостов'врили полив'йшую ея опустошенность, и что быстрымъ сл'ядствіемъ, по св'яжимъ сл'ядамъ (сл'ядователь попался «неопытный», — изъ «прежнихъ» и не-податливыхъ!), было установлено: что могила была осквернена и расхищена въ первую же ночь посл'я похоронъ, — что три доски пошли на растопку, черное шелковое платье — на толкучку, а самая покойница — на мыловаренный заводъ, для вышяжки изъ нея жира, потребнаго для изготовки мыла...

То было весною 1920-го года, когда я стояль у «входа для артистовъ», съ тревогой и горько напоминая себь о ея торопливыхъ шагахъ — черезъ этоть порогь, въ ежевечернемъ устремленіи къ всегдашнему обману рампы и подмостковъ: вспышка бенгальского огня, когда все на мгновение кажется волшебнымъ, а потомъ скверно воняеть сфрой и углеродомъ — и тьма, вдвойнъ сгущенная, пугаеть, и въ ней зарождается жуткая грусть. Но еще въ зиму 1919-го года, на ствнахъ и заборахъ города М\* быль расклеень новый декреть большевицкой власти: Граждане! Вибилется вамъ въ обязанность (и будеть вамь выдано за это вознаграждение въ деньгахъ) приводить въ наши трудовыя помъщенія вашихъ собакъ, кошекъ, а если можно, то и больныхъ лошадей, коровъ! Зазорно въ такое трудное время держать у себя и кормить эту ненужную, эту лишнюю, невъдомо-зачъмъ живущую тварь. Но во всемъ живущемъ, хотя бы и больномъ, лишнемъ, ненужномъ, но все еще живущемъ, — есть, товарищи, жиръ! И этотъ жиръ можетъ пойти хотя бы на изготовку мыла, въ которомъ столь нуждается трудящійся пролетаріать. Мойте, товарищи, ваши трудовыя рубахи! Уже загораются по всей земль. — тамъ и сямъ, на страхъ нашимъ врагамъ, — красные огни «Интернаціонала»! Будеть міровой пожаръ, — готовьтесь, товарищи! И дайте мыло тому, у кого, можетъ-быть, одна лишь рубаха, послёдняя! Пусть днемъ онъ — поносить, а ночью — помоеть! Трудное наше время! Льется кровь народовъ, въ борьбъ за «Интернаціоналъ». Кровь, потъ, натёльные паравиты...А рубаху всегда смёнить нужно! А послёднюю рубаху хотя бы помыть хочется... Страшное, прекрасное наше время! Гигіена, товарищи, прежде всего! Готовьтесь къ міровому пожару! Да здравствуеть «Интернаціональ»!

А моя квартирохозяйка Острогорская, дочь священника, узнавши о томъ, что стало съ мертвой Казанской, сказала:

# — Какой въ ней жиръ?!

И въ голосъ старухи, и въ остромъ блескъ ея всегда полузакрытыхъ, но удивительно бдительныхъ глазъ, была не только усталая укоризна, но еще и какая-то едва уловимая, страшная «точность» мимолетнаго чувства, ее поколебавшаго. Что стало съ твломъ артистки послъ того, какъ изъ него извлекли этотъ бѣдный «жиръ», потребный для величія «Интернаціонала», объ этомъ, вітроятно, внають и палачь, и председатель М-ской чрезвычайной комиссіи. Но почему меня такъ напугала неожиданная «точность» въ глазахъ и въ голосъ старухи? И еще разъ я подумаль объ этой «Святой Руси», превращенной въ матеріалистическую совденію, гдъ «зря» ничего въ землю не бросають. Только въ этомъ одномъ и заключается возможная дополнительная поправка Маркса къ евангельскому: тлёнъ есн и въ тятнъ обратишься!

Въ жизни подлинной говорятъ о послъдней рубахъ пролетарія! Она и потная, и кровавая, оть нея всяческія благородства, и лучи славы «Интернаціонала». И въ послъдній разъ подымается занавъсъ надъ ранней, еще въ дъвичествъ, на гимназической скамъъ взлелъянной мечтой. Въ «роскошномъ» кремовомъ платъъ, съ предлиннымъ треномъ, въ пышной, высоко взбитой прическъ надъ картонно-тяжкой ціадэмой (давящей разумную прелесть лба), прекрасно, гордо непохожая на самое себя, она молчаливо появляется въ свъть рампы. Сначала — только вздохъ и покорный наклонъ головы. Она знаетъ, что она одинока, одна, одна... И такъ слаба! Есть роковая немощь въ такомъ одиночествъ. Точно стоишь надъ бурно-плещущимъ омутомъ... Тамъ свъжесть, тамъ жизнь! И въ дегкомъ головокружения желаніе отшатнуться отъ неподвижной тверди берега... вскружиться, поплыть! Пусть Яго еще пошипитъ и побрызжетъ слюной! Нисколько ей не страшны шипънія и свисты клеветы, — когда впереди ни съ чёмъ несравнимые просторы для неотразимыхъ оправданій! Всю землю можно затопить во лжи и клеветь, но у неба нельзя отнять и единой крупицы правды! Твердыня неба ей будеть защитой... Сейчасъ она заговоритъ — запоеть — о своей нерушимой невинности, о голубиной чистотъ своихъ помысловъ... Однако, какая тусклость и мигающая неровность въ свъть этой рампы! Какъ холодно въ этомъ залѣ!... Та давняя обитель ея нѣжнаго и бѣлнаго очарованія — осквернена! Гдв мужъ безстрашный и правдивый, который сниметь съ нея это постылое бремя жизни, безъ милаго довърія, безъ долгожданной любви, въ холодъ какихъ-то неодолимыхъ просторовъ? Яго, шипя и брызжа слюной, слишкомъ близко склонился къ ея лицу! Невиданно скачеть Отелло, неслыханно рычить, и грозить кулакомъ передъ самымъ ея лицомъ, въ гримасахъ элобы, ревности, похотливаго умиленія — и всёхъ прочихъ, давно ей знакомыхъ страстей. И всв они. всв. жрецы искусства, восторженно дрожащіе при мысли о замороженномъ гусъ, давно понятны и близки ей. разгаданы ею... невозвратно! Непостижимое удушье и ложь!... Господи! Если бы скорве возлечь на это «роскошное ложе» — и жалобно стонать, и вздыхать, и биться... и умереть, наконець... среди розъ! (Тогда какъ по Шекспиру ей полагается умереть безъ стона, безъ вздоха!) А байковое дѣтское одѣяло (пятнадцать лѣть тому назадъ вывезенное изъ родительскаго дома) до сихъ поръ уцѣлѣло — и лежитъ теперь на постели, въ грязномъ номерѣ гостиницы. И въ облинявшихъ складкахъ этого одѣяла, на наплаканномъ мѣстѣ, затаилась тоска... недостижимая, страшная мечта... быть матерью — своею грудью кормить своего ребенка отъ своего законнаго мужа! Какъ закричать объ этомъ? Сейчасъ закричать! Кому!? Кто повѣритъ?! Твердыня неба ей будеть зашитой...

Но туть, въ этотъ неотопленный театральный заль, къ этой провинціальной рамив изъ трехъчетырехъ электрическихъ лампочекъ, тускло мигаюшихъ, приходить подлинная смерть, и пока опускается занавёсь надъ роскошнымь многоактнымь извышленіемъ, быстро и решительно делаетъ свое неумолимо-правдивое дёло. И мечты Казанской (тв, что о материнствъ, и тъ, что о такъ называемыхъ славъ и красотъ), ею же самой восхищенныя подъ самую твердыню неба, идуть въ неведомомъ намъ направленіи, собираемыя рукой Господней, какъ жатва пе нашего поства. Но и въ нами, обычно, зримомъ и нами же творимомъ порядкъ неизмъримомалыхъ крупинъ земного бытія мы едва раличаемъ, послъ смерти Казанской, продолжение подлинныхъ событій, -- единственпо-подлинных въ тв дии, -столь же подлинныхъ, какъ и самая смерть на театральныхъ подмосткахъ, какъ черное шелковое платье, надътое на покойницу ея подругами, и какъ погребение ея въ случайной могиль, въ чуждомъ и немиломъ ей городъ...

Ничего, — кром'в м'вста посл'вдняго усповоенія Казанской, — опред'вленно не видно! Можно только вообразить какую-то тьму, — тьму мъстную, сгущенную, но уходящую въ какіе-то неодолимые просторы еще большей тьмы, повисшей надъ всей страной. надъ целымъ народомъ. Но въ этой тьме, — тамъ и сямъ, въ разсвяніи цвиесообразномъ, — горять, шипять и варываются огни, отнятые у театральной рампы. Туть тьма исполосована продольными снопами настойчиво льнущаго свъта, а тамъ она испещрена краткими вспышками огня, какъ будто едва посмвышими возникцуть и тотчась же замкнутыми въ пугливомъ взрывъ. И въ этой тьмъ, — гдъ каждая капля свъта порвала съ жизнью человъка, ненужна ему, враждебна ему пуще мрака, — происходить рядо передвиженій. Да! Въ чинъ косныхъ, тягостныхъ, подчасъ ленивыхъ и пьяныхъ потугъ они образуются, но понятливо собранные той связью которая живеть въ огняхъ оторванныхъ отъ нашей самозабвенной жизни, они обрѣтають стройность и целесообразность осмысленнаго ряда... Темные закоулки, — но можетъ-быть (и скорве всего), центральныя улицы, правительственныя зданія! Къ могиль идуть опасливымь шажкомь, — но можеть быть (и скорте всего), въ безцеремонномъ бряцаніи винтовокъ, подъ командные оклики довкачей-предводителей. Сдержанный говоръ, нервно-свистящій шопотъ, и шорохи, и неожиданный трескъ, и скрипы разные ненужные и досадные. — но можеть быть (и скорве всего), неуклюже-решительный напоръ, и безстыжая грубость толчковъ, стуковъ, бросковъ и подхватовъ, и взаимныхъ понуканій, съ потомъ и руганью. Тъма не выдасть, свъть не сожреть. Да и некому быть выданнымъ! Самозабвенная жизнь! Несуть, раздирають и дробять откровенно! Не пугливая затаенность не-пойманныхъ воришекъдушегубовъ, — а такъ-называемый ударно-революпіонный порядокт! Не воровская возня надъ запретной добычей, —а удары молота пролетаріата, кующаго славу «Интернаціонала»! Последніе удары, завершающіе рядъ пілесообразныхъ передвиженій. возникшихъ изъ хаоса и косности самозабвенной жизни, и властвующихъ во тьмъ. Остальное — при свъть солнца -- додълаеть голодный пролетарій... Земное существо той неразумной, что въ Казани задумала являться намъ въ видъ Дездемоны, — исчезло. Отъ него не осталось ничего. Ничего, кромъ сквернаго анекдота о «казанскомъ мыль», придуманнаго неудержнымъ острякомъ города М\* и... этого мыла, которымъ — быть можеть, послъ неудачнаго выстръла — обмылъ свою харю безымянный палачъ-идіоть, весь обрызганный кровью — родственной Казанской Лездемонь, еще горячей, братской кровью....

## Π.

Садикъ постепенно темнълъ, и блестълъ, въ первыхъ капляхъ дождя, и вздрагивая стройными деревцами, какъ-бы тревожно вздувался отъ напряженно-затаенныхъ силъ надвигавшейся грозы и шумной, и разгульной охоты за людьми, уже начавшейся за зданіемъ Театра, на большой городской улицъ. Изъ глубокихъ впадинъ старинныхъ домовъ, съ высокими аркообразными входами, — похожими на Боровицкія Ворота въ Москвъ, — на тротуары провздовъ, окружающихъ садикъ, поползли неспокойныя тыни; все ты же низкія небеса, въ різвъющихъ порывахъ вътра, безъ пути, безъ дороги, носились надъ городомъ! А самые дома, быстро и неравномърно вовлекаемые въ клубящійся мракъ, казалось, мъстами раскалывались, шатались и дымились. Минутами вътеръ смолкалъ, наступало затишье, и внезапное нъжное просвътлъніе, и тогда остръе выступали, въ прохладной прозрачности воздуха, фигуры въ страхѣ бѣгущихъ людей, непрерывный трепеть листьевъ, вздрагиваніе вѣтвей... А потомъ опять набѣгали разорванныя тучи, черныя, бурыя, дымномѣдныя, и опять ломались и шатались дома. Если-бы не все учащающієся крики и ружейные выстрѣлы, доносившієся съ улицы, то могло бы показаться, что въ природѣ происходитъ безшумное землетрясеніе... Какая скорбь! И какъ ничтожно наше невыразимо суетное бытіе! Еще притаившаяся природа, издалека посылающая неувѣренные раскаты своихъ громово-огненныхъ силъ, — и уже взбушевавшаяся безстыжая вольница людскихъ посвистовъ, окриковъ и улюлюканій!

Вѣтеръ хмуро и тяжко сдавалъ... Тучи густъли, замедляя свой бъгъ, и крадучись подбирались другъ-къ-другу, разбухали ввысь и вширь! На стройныя, блестящія деревца набъжало раздумье...

Я стояль, прислушивался, ждаль...

Долго-ли мнѣ стоять подъ этой стѣной?! Когда небо разорвалось въ близкомъ пламени, и гремящій ударъ грома остановилъ мое дыханіе, я вспомнилъ старуху Острогорскую... Ей все мерещатся, ее преслѣдуютъ — морды!...

Старуха она тяжколумная, немилосердная. Къ старией дочери своей, Ольгѣ Львовнѣ, старой и некрасивой дѣвушкѣ (городская учительница — по прежнимъ временамъ), она относится съ простой и послѣдовательной жестокостью. Все добивается отъ нея того, въ чемъ отказываетъ сама жизнь: сытости! Бывшая учительница добровольно взвалила на свои дряхлѣющія дѣвичьи плечи заботу о жизни дома. Кухня, стирка, полы, и ежедневное стояніе на толкучкѣ съ разнымъ домашнимъ скарбомъ и рухлядью. Опа не любитъ физическую работу, считаетъ такую работу «чистымъ наказаніемъ», и постоянно говорить объ этомъ. Но она неутомима, и ежедневно она чиститъ, скребеть и третъ посуду, полы, окна, бѣлье,

съ какимъ-то необъяснимымъ рвеніемъ, граничащимъ со злобой.

- Уймись! кричить ей старуха. Шумъ-то какой подняла, а-а-а, Боже мой! Вотъ-что, дёточка, ты понимай! Отъ такого шума не только тебъ, но и мнъ кушать захочется. Ты понимай!
  - Я и понимаю.
  - Ну-такъ не шуми... не шуми!

Но случается (разъ въ мѣсяцъ), что Ольга Львовна заболѣеть, ляжеть на постель и надрывно, хоть п тихо, сквозь стиснутые зубы, стонеть.

- Ольга! кричить ей старуха, пошаривь на кухнѣ, вокругъ печки, Ольга, ступай къ прилѣску, принеси хворосту, да дровецъ тамъ, что-ли... дровишекъ какихъ-нибудь, да побольше! Топить нужно!
- Это съ больнымъ-то животомъ?! скажеть Ольга не-своимъ голосомъ.

А старуха отвѣтить:

— Не на животъ, матушка, а на спинъ... на спинъ!

И тутъ Ольга Львовна подыметь плачъ, стонъ, вопль, но къ прилъску за дровами все-таки пойдеть, провожаемая ръшительнымъ, материнскимъ:

— Такъ-то, деточка! Давно бы такъ!

Есть у старухи и другая дочь, Елизавета, чуть по-моложе Ольги, а лицомъ еще безобразнъе. Елизавета Лововна продолжаетъ учительствовать у большевиковъ. Съ неопредъленнымъ (риторическимъ!) восторгомъ взрослой дурочки, не-понимающей собственныхъ словъ, она говоритъ о томъ, что «пока» въ школъ запятій нътъ, что дъти, вмъсто отвъта на поставленный вопросъ, показываютъ учительницъ задъ, но что скоро все это «образуется» — и будутъ введены «коллоквіумы» вмъсто экзаменовъ... По вечерамъ она играетъ на разбитомъ домашнемъ фортепіано. Репертуаръ ея ограниченъ двумя веща-

ми: «Молитва дѣвы» и «Табакерка» Лядова. На учительское жалованіе она кое-какъподкармливаеть себя и — какъ можеть — отгораживаеть себя отъ матери и сестры; случается, что и прикрикнеть на нихъ, закусивши гдѣ-нибудь въ сторонкѣ, одна...

— Уйду изт дома! Поговорите еще... видъть васъ

не могу!

Старуха робъеть, смущается — и уважаеть свою Елизавету.

— Лизаньку мою, — говорить она, со вздохомъ подчиненія какой-то высшей силь, — Богь не обидьть. Самостоятельная она, умная, да и талантли вая! На Петра нашего похожа...

Есть еще и сынъ Петръ, бывшій судебный слѣдователь, работающій у большевиковъ по своей спеціальности. Старуха говоритъ, что онъ «прилично зараблънзаетъ». И она, мать, и обѣ старыя дѣвушки, нѣжно и съ опаской любять его, гордятся имъ, говорять о немъ съ таинственнымъ придыханіемъ, значительно понижая голосъ. Но Петръ забылъ свою семью, не помогаетъ ей — «и съ прошлаго года его не видать!» Однако, пишетъ, — что съ большевиками жить вполнѣ можно — «лишь бы ихъ ничѣмъ не вызывать!» А сама старуха, — хотя она и очень богомольно живетъ, но къ большевикамъ, кажется, вовсе равнодушна. (Трудно, впрочемъ, понять ее, голодную!)

— Не о томо въ моихъ мысляхъ, дёточки... — говорить она. — Вы все о царяхъ! А по-моему — пускай хотя бы эти самые большевики, да чтобъ голодио не было, вотъ-что! Зачёмъ мив цари?! А я, — какъ поёмъ, то и сама себё царица!

Но дней голодныхъ больше, нежели сытыхъ. И старухъ тяжело. Она плачетъ, сидя на кухнъ передъ холоднымъ печнымъ горшкомъ.

— Охъ, дъточки, дъточки... Гръшно-то какъ, не вмши!

И среди бѣла-дня ей мерещатся морды.

— Какъ вы московскій и ученый, — говорить она, стараясь быть отмённо ласковой, очаровательной, — то разъясните вы мнё: какая же разница между иллозіей и галлоцинаціей? Я-то для себя воть какъ смекаю... На стёнё обои... А мнё видится: морды! Это иллозія, потому-что тамъ цвёточки. Такъ-ли? Ну, а если нётъ ничего, и обоевъ нёть, а въ воздухё — морды! Такъ вёдь это же, дётки, галлоцинація?!...

•Есть въ этомъ садикѣ песочная насыпь, похожая на курганъ. А надъ городомъ осели большія потемки, — желто-сврыя вблизи, и огненно-черныя по краямъ небосвода. Дымно-медныя небеса, быкиминол-оото языческимъ богомъ разгульныхъ странствій, алчныхъ блужданій и далекихъ-далекихъ набъговъ и битвъ! И стоя подъ ними, дышишь древнимъ духомъ истлъвшихъ костей, едва ощутимой, но неотступной ветошной вонью степной падали. Илмозія, конечно... Песочная насыпь... обгорълыя доски, бревна, спаленная трава, черное городище... Собирались, говорять, строить кіоскь для заманиванія народа подъ музыку. А потомъ опівнять и хватають. И воть — знакомое виденіе! Разстреливають здёсь — по овражьимъ склонамъ, близъ православнаго кладбища. Тамъ поле большое, высокіе бугры, сырые пески овраговь, и лужицы случайныя — мутной, стоячей воды — предвестницы близкаго болота; а потомъ — кладбище и топкая равнина. Туть, Господи, по волѣ рока, человъческая падаль! Привычное видъніе! Одно и то же — на каждую ночь и на всякое уро... Надъ лономъ стоячихъ

водъ, надъ непроглядной пропастью овраговъ, скопилась густо-оствиная гниль. Она тяжело клубится, бродить, уродливо цвътеть — и вдругь загорается сврнымъ огнемъ. Изъ чрева дымныхъ кажденій, гдъ тучный смрадъ, гдв бредъ пустопорожнихъ пламенъ, встаеть духъ бездны, и движется къ намъ, идеть на насъ походомъ, покоряя древніе города, поселки, знакомыя дороги, родные дома, — вездъ врываясь въ самозабвенное дыханіе земли. И къ утру колышатся у ствиъ овраговъ желтолицыя твии! Возстали передъ ними родные люди, слишкомо родные и близкіе, слишкомо чуждые и далекіе! Неодолимая бливость! Пока разметають людишекь по оврагамь, въ охоть дикой, — лучь солнца вострубить надъ варытой — въ ненужномъ бътствъ — землей... чирикнетъ птичка... и скоро будеть затишье! И будеть надъ ними такая глухая нъмота, и безотвътность, и ненужность всего живущаго, что не подбереть — какъ въ сказкі — ихъ послідняго вздоха никакой степной ковыль, никакая пушинка, летящая подъ солнцемъ...

«Такъ въдь это же, дътки, галлюцинація?!..»

Если, — подъ покровомъ Вожьей грозы, я сворочу на главную улицу и, не встрътивъ патрулирующихъ камовъ, благополучно миную соборъ, рынокъ и губернскій острогъ, то тамъ есть пустырь, гдъ глазу открываются большія дали. Тамъ можно оборотиться лицомъ на Западъ, и сладостно возмечтать объ этой старой Европъ, возвать къ ея цивилизаціи, къ ея университетамъ и книгамъ, вспомнить Венеру Милосскую... Люксембургскій Садъ... и давнишнюю любовь къ француженкъ! Впрочемъ, не знаю... Кажется, изъ всей цивилизаціи этой старой Европы наша память кръпче всего удержала — электрическое освъщеніе, да еще, пожалуй, туалеть этой самой француженки. Отсюда, въроятно, и сладостныя мечтанія...

Но воть была! За этимъ пустыремъ — сплош-

ной, поднебесный проваль! И туть, какъ живой, ползеть разбухшій скать кругого обрыва. А далье, низиной, одна лишь дорога, безповоротная. И воть я иду по ней, огибая топкую равнину, мимо высоко торчащихъ плешивыхъ бугровъ, миную всеми забытое кладбище предковъ, и подхожу, наконецъ, къ берегу великой русской ръки... Господи! Почему не спится тому, кто нынъ блаженно одичаль въ одиночествъ? Зачъмъ я очутился въ этихъ мъстахъ?! Солнце еще не всходило... Взойдеть-ли оно когданибудь?! Вдали — туманъ, сплошной туманъ, и дикія очертанія прибрежныхъ скаль! И далекій, чуть слышный вой, невъдомо откуда идущій! Что это?! Грежу я?! Нъть, это ранить мой слухъ едва уловимая пъсня о кровавой потехъ, о ножахъ, о душь, загубленной среди театральныхъ ущелій, о напрасномъ предсмертномъ крикъ межъ грязно намалеванныхъ и кошунственно лгущихъ декорапій! Еще не всходило солнце. — но если взойдеть, то лучь его будеть трепать приръчную падаль.. И воть, въ такое-то весеннее утро, когда тяжко дышать оть гнили и тлена, царственно напоившихъ воздухъ, клочекь за клочкомъ разрывается туманъ надъ ръкой — и оттуда выплываетъ затвиливый челнъ, расписной и узкогрудый. И вижу я на этомъ челиъ, въ сверканіи мертвой красоты, въ бореніи съ летучими дымомъ и мглой, скользитъ — плыветъ — и спить бездыханно — моя светлоликая радость, моя прекрасная царевна, среди охмельвшей своры давно мнь знакомых в хамовь, — въ какой-то заморской одежонкъ, въ какихъ-то бутафорскихъ кафтанахъ и шапкахъ. Ее несуть багряныя волны, и рдъють на ней въ сплетении рубиновыхъ брызгъ и въ сттуатомъ нимбъ надъ всей ладьей, росинки, капли рѣчныя, лучи надводной зари и тѣни быстро гонимыхъ тучъ. Но въ какомъ же простомъ и горькомъ смиреніи опочила теперь ея прекрасная улыбка?

Неужель, — думаю я, глядя на нее, — иначе оно и быть не могло?! Господи! Такое-воть обычное утро, пресыщенное всегдашнимъ тлъномъ всей нашей жизни... А я-то думалъ, что увижу мертвую царевну не иначе, какъ въ пламени небесныхъ возмездій, въ ударахъ грома, въ великихъ обрушеніяхъ на землю Твоего Правосудія! Но вотъ же она — скользить, по волъ играющей зыби, скользить, плыветь, сама играетъ соразмърно съ несущей ее волной... и ничего не отринетъ изъ всего, что оставлено позади, на этой минувшей стезъ туманныхъ колебаній и смутнаго боя безшумныхъ зарницъ — надътемнымъ кругомъ пучинъ...

Вилишь, Казанская Дездемона... Если бы ты была не Дездемоной, — а персидской царевной! И мужъ твой, мавръ Венеціи, Отелло — не мавромъ, и не Отелло, а Разинымъ Стенькой. «Степаномъ Тимофеичемъ»! И плыли бы вы не по тихимъ каналамъ, гдъ и плеска не бываетъ, а глъ-нибуль по-ближе, глъ по-шире, да по-глубже, да и сподручнъе для «разгулья удалого» и наступающей потомъ «сердешной тоски»! Охъ, чуеть мое сердце... Не нужно было бы никакому Ягъ придумывать никажую твою измину супругу! Потому-что и безъ всякихъ сомнъній и подозръній, — но отъ нъмоты своего сердца, отъ скотской пресыщенности тобой, отъ страха передъ своими друзьями, да еще какой-то смутной и дикой «безотвътности» въ рѣшеніяхъ и потугахъ, мужъ твой, «Степанъ Тимофеичъ», бросилъ бы тебя въ воду — ребятамъ своимъ, «соратничкамъ, удалымъ разбойничкамъ», на потъху, а рыбамъ — на съъдение! Только и всего... Жалко мнв тебя, Казанская Дездемона... Если бы ты была персидской царевной, при мужѣ своемъ Степанъ Тимофеичъ! И сидълъ бы у васъ ладьв. «замвсто кормчаго и соввтчика», какойнибуль подлинный Гришка Зиновьевъ! Что туть было бы, Господи Боже мой... Бросиль бы тебя въ воду Степанъ Тимофеичъ, безъ всякихъ разговоровъ! Но потомъ, по совъту Зиновьева, извлекъ бы отгуда обратно, вытянулъ бы изъ тебя жирокъ «на мыльца» — для себя, для «соратничковъ, удалыхъ разбойничковъ», а затъмъ состряпалъ бы изъ твоего милаго тъла хоть какую-нибудь снъдь, себъ на закуску подъ самогонъ, а Гришъ — на фаршированную рыбу. Вотъ и все.

И все-таки, думаль я, — хорошо бы, не будучи ел убійцей, не будучи ни воромь, ни пьянымь, ни народникомь, ни марксистомь, но благогов'йно цівлуя теперь уже вычную лазурь ея глазь, сложить хоть какую-нибудь пысню — «за поминь ея души»! Не о паревны персидской, не о синьоры прекрасной Венеціи! За Марью Ивановну изъ Казани, за неразумную Машу Быликову, бывшую въ Дездемонахъ — ...хоть какую-нибудь пысню!

Парижъ, 1926 г.

#### передрягинскія ночи

(Отрывокъ изъ рукописи Никудимова)

Краткое поясненіе для г. г. критиковъ.

Никудимовъ — одинъ изъ героевъ незаконченной фантастической повъсти, въ которой мъстомъ дъйствія является городокъ Передрягинъ, Вывихинской губерніи, О таинственномъ "музыкально-влюбленномъ семинаристъ" -- о которомъ Никудимовъ небрежно упоминаетъ въ началъ отрывка, - слъдуетъ сказать лишь самое общее: это быль человъкъ вульгарныхъ ныхъ вкусовъ и, къ тому же, "патріотъ своего отечества". А Никудимовъ, во всей лирикъ (не только сентиментальной, но и гражданской) своихъ воспоминаній о передрягинскихъ ночахъ, явно и такъ сказать безпардонно подражаетъ «музыкально-влюбленному семинаристу», хотя и дълаетъ видъ что высмъиваетъ его. Никудимовъ очевидно, недостаточно поразмыслилъ надъ тъмъ, что — любить Россію, вообще стыдно! такой вульгарной любовью. любить ee торжественной любовью простой мучительно, это нестерпимо! чъмъ стылно: это Въдь это только на Западъ - люди, любящіе свою родину, называются просто патріотами! У насъ они всегда остаются "патріотами своего отечества". И даже тогда, когда приходится имъ — иной разъ — умирать, сражаясь за свою родину, то и въ этихъ случаяхъ они только-всего и дълаютъ, что "въ нъкоторомъ родъ кровь проливаютъ". Справътесь объ этомъ, если не върите, у разнообразнъйшихъ русскихъ критиковъ, литературныхъ и иныхъ; загляните, на всякій случай, въ собственныя ваши сочиненія! Такъ вотъ: отъ этого, именно. "въ нъкоторомъ родъ" и не удалось уйти Никудимову, въ его литературно-патріотическомъ порывъ. Да будетъ же Никудимову стыдно, вдвойнъ стыдно: и какъ писателю, и какъ гражданину Россіи!

В. К.

#### I.

...И правъ быль музыкально-влюбленный семинаристь — и во всемъ литературномъ упоеніи, и въ каждомъ словъ! Ночи — дъйствительно — стояли «вкрадчивыя, сладкія, подъ бездонной синевою звъзднаго неба», а жена нотаріуса Канарейчикова — словъ нътъ — «пъла пріятнымъ контральто»! И каждую ночь задремавшія деревья Городского Сада модчали «такъ призывно», и жена нотаріуса Канарейчикова продолжала п'єть пріятнымъ контральто... Едва уляжется пыль по дорогамъ, и понурыя стада пройдуть, при звукахъ рожка, черезъ весь городокъ, тогчасъ же на горизонтъ вспыхнетъ, какъ искра...загорится, замерцаеть первая звъздочка... и другая... и третья; а тамъ ужъ и все небо польеть на землю дрёму, нѣгу — и летучую, какъ эеиръ, истому въ сердце. И хотя всѣ ночи были похожи другь на друга, какъ родныя сестры, — но у каждой быль свой голось, свои все болье томительные зовы, свое все болье властное ожиданіе; и жена нотаріуса Канарейчикова не переставала пъть пріятный контральто...

О, передрягинскій ночи, — укажите мий такого дуралея, который бы вась не зналь, и того безумца, который могь вась забыть! О, передрягинскій ночи, которыя я напрасно называю передрягинскими, — потому-что, распростершись на собственныхъ крыльяхъ по всёмъ шальнымъ просторамъ россійскимъ, онв, на самомъ дёль, являются настоящей, неподдёльной и единственной душой Россіи! И горе, горе тому, кто не уловиль ея античнаго, какъ міръ язы-

ческихъ боговъ, панія — даже подъ небесными сводами губерніи Калужской, даже подъ самымъ бокомъ у дымныхъ столицъ! О, передрягинскія ночи! Подъ вашей завъсой даже строгая блъднолицая поновна, Гликерія Николаевна, которую я, начитавшись Маркса и Михайловскаго, хотъль просвъщать насчеть капитализма и общинныхъ взаимоотношеній, бывало, подойдеть подъ вечеръ, когда уже поздно и родители спать собрались, къ оградъ моей одинокой дачки, и не слушая, и забывь мою эрудицію, бывало, бывало, скажеть, въ дъвичьемъ трепеть вдругь замлѣвшаго голоса: «Вика, пойдемъ на рѣчку купаться!» И это подъ вашимъ покровомъ, передрягинскія ночи, бабы, въ пестрыхъ платочкахъ, стоять въ задумчивости у крылечка, поють-напъвають и, завидъвъ позднято прохожаго, услыхавъ и послушавь его ласковый голось, молча ступають босыми ногами прочь отъ хаты, молча идуть впереди, все дальше и дальше, выходять ле, входять въ рожь (все молча!), и, дойдя до завѣтнаго мъста, встанутъ какъ вкопанныя, стоймя-стоять спиной прохожему къ (все модча! все модча!) только И безсловесного пинка, чтобы свалиться на свъжую лебеду межи и принять на свое сердце, горячее и вольнее, сладкоголосаго мужа, пришедшаго, когда солнышко спать положилось, изъ невъдомыхъ далей Россіи...

Но развѣ только эта истома волнуетъ меня, когда я вспоминаю васъ, — о, передрягинскія ночи? Нѣтъ! Я люблю васъ больше всего за то, что вы, брызжа и проливая свѣтъ на русскую землю, уже въ самые ранніе, тревожные годы моей отравленной юности, облили должнымъ свѣтомъ многое, чего, безъ вашихъ лучей, я не узрѣлъ бы въ настоящемъвидѣ, — развѣяли, передъ моимъ взоромъ, многія злыя чары, отторгли меня отъ пропасти — и тѣмъ

уготовили мнѣ грядущую предсмертную отраду. Даромъ, что торчить луна въ Передрягинъ, надъ самымъ домомъ нотаріуса Канарейчикова, — а лучи ея быють и на объ столицы: на радикальныя редакціи, на философскіе кружки, на футуристическіе рестораны и на большой домъ на Большой Дмитровкв, и на эстетическіе углы Столешникова переулка, гдь тоже влюбленые, тоже лопочуть объ Унтмань Уольть, — и на эсоровъ съ осдеками, и на умниковъ, вообще, и на мистихъ Ивановыхъ-разумниковъ, въ частности, и за литературный салонъ госпожи Мармеладъ, а это тебь не ръдька на конопляномъ маслъ, не ушица постная, не тюря мірская: это литературный салонъ мадамъ Мармеладъ — антикъ марэ съ гвоздикой или Россія соусъ пиканъ! И нъть во мив, ночи, угрызеній за то, что еще съ давнихъ дней моей юности, я выше революціонных дівь, выше футуристическихъ поэтессъ, поставилъ ту предразсвътную бабочку, которая, потерявъ свой пестрый платочект на душистой межь, сказала мнь съ тяжелымъ, какъ дрожь матери-земли, вздохомъ: «Такъ люблю, что-ажь запрѣла!...»

Чего, чего они хотьли отъ васъ, — о, передрягинскія ночи! Чтобы ге Богъ дышаль надъ вашимъ куполомъ смигеннымъ, — а разумный молодой человѣкъ, уничтоживъ свои прыщи патентованнымъ нѣмецкимъ порошкомъ, разсказываль бы русскимъ дѣтямъ о богахъ по Фейербаху? Чтобы не русскій царь свободно уодилъ подъ вашей сѣнью, въ высокихъ думахъ о величіи всѣхъ странъ, вами, ночи, благословляемыхъ, и о благѣ малыхъ сихъ, видѣвшихъ свѣтъ ветергій и поющихъ славу Творцу, за то, что Онъ создалъ такія ночи? Но тогда, — пусть они меперъ скажутъ, — для какихъ же шутовъ гороховыхъ они открыли, о, ночи, вашу таинственную сѣнь!

Я знаю, — когда изъ сёдыхъ тумановъ древняго

прошлаго, изъ кроваваго марева последнихъ переходовъ, выступилъ заиндевѣлый русскій обозъ и тысячу девятьсоть шестнадцатый столбь миноваль. - я знаю, какое это было страшное время! Да, покругила здёсь вьюга, порхнуль бурань! И появились вездъ навожденія, призраки, лукавые огни... Лезеть обозь изъ топи на горку, скользять колесья, люди никнуть до самой земли, напрягшись; погоняльщики кричать, совътчики, указчики стараются, справа и слева забегають, — а впереди идеть ослетний вожакь! Я помню: всталь обозь на откосе, преть на него стрной офлесая рябь и дробь, земля. рыхлая, подъ ногой качается, наверху Бога не видно. И могло туть примерещиться, что надо бы убрать ослѣшшаго отъ вьюги вожака! Тогда-то и столкнули его съ откоса въ канаву, а потомъ и убили — не въ милую передрягинскую ночь, а въ темную и злую, какъ погребъ. Я знаю... Я знаю и то, что не свои убили, а такъ — присталые люди, лихіе молодчики, до чужого добра охотники, чужой славы завистники, чужой души губители. Но когда это стало, — стало, милостивыя государыни и милостивые государи, то, чего и во Франціи не было, — и вонзился обозъ въ землю, какъ жельзо, пропитался отравой земной горечи, разсъкся, старый, и разметался тамъ пластами и пластинками безнадежно, — когда вокругъ него падаль народь оть истощенія, и не было такой перелетной хищной птицы, которая бы не клевала глаза умирающихъ, не было такого поганаго звъря, который бы не пиль отъ ихъ еще трепетной крови, а пригоршни русской земли трепыхали надъ безкрестными могилами техъ, кого били и не-добили лихіе молодчики, ставшіе хозяевами торговаго д'яла... — когда я въ таком униженіи увид'яль тебя, великій русскій Обозъ, и тебя, Обозникъ сѣверный, - развъ могь я тогда не вспомнить о томъ, что и въ ясности вашего лика была скорбная моль-

ба. — о. вы, далекія передрягинскія ночи! Потому что не было въ васъ звъриной злобы, милыя ночи! Не звіря вы хотіли будить въ человікі, — и все поль вашимъ покровомъ давалось смиреніемъ, словомъ разумнымъ, добрымъ упорствомъ, надеждой и лаской; да, и бабонька та, отъ пинка на травку упавшая, упала не оть пинка, а оть ласковаго слова!... А когда, затъмъ, я увидълъ, что всъ совътчики, всв указчики, всв погоняльщики разбежались по разнымъ сторонамъ (и этого тоже не было и во Франціи!), что ни въ одномъ изъ нихъ нётъ ни доброй вѣры, ни толка правильнаго, ни праведнаго гивва, ни храбрости простой, — что изтъ въ нихъ ничего путнаго для тебя, погибающая Родина, и что теперь еще не смерти они жаждуть среди расхлябанныхъ кровью пустырей Россіи, чтобы такъ укрыться отъ позора, — а новыхъ почестей, новой обманной славы — и власти, власщи хотять хотя бы надъ обезличеннымъ, хотя бы надъ въ рабство проданнымъ Народомъ... — когда я увидълъ и это, - развъ могъ я тогда не вспомнить о томъ, что и въ благости вашего трепета быль грозный указъ, — о, старыя передрягинскія ночи! Потому-что, сколько бы и гдв ни бродиль я среди вашихъ синихъ глубинъ, я нигдъ, никогда, ничего не слыхалъ ни о фгакціяхъ, ни о подфракціяхъ, ни о ячейкахъ, ни о Розъ Люксембургъ, ни о томъ, что «съ одной стороны нельзя не признаться, а съ другой стороны нельзя не сознаться», ни о конспиративныхъ решеніяхъ, — и все подъ вашимъ покровомъ шло съ обнаженной головой, съ открытымъ челомъ, съ открытыми глазами; а если иногда и принимались тайныя ръшенія, то они туть-же предавались гласности въ равной мёрё для обёнхъ заинтересованныхъ сторонъ. - и если иногда и смежались тихонько очи, то только для того, чтобы потомъ еще спокойнъе открыться

для большей въры въ надзвъзднаго Бога и для новой и большей любви къ человъку и къ жизни...

Ну, и еще чего они хотвли оть васъ, передрягинскія ночи! Чтобы не горвла, жарче звізды небесной, въ нашемъ сердці молитва о Россіи? Чтобы Россіи вовсе не было, — а былъ бы извістный всему міру фокусникъ и чревовіщатель, любимецъ интернаціональной публики, Григорій Александровичь Зиновьевь? Ну, и еще чего! Кастрюлю, вмісто луны? А самое небо изъ папье-маше? И золотенькаго картонца на звізды, — о, поэты? И чтобы не было ни Пушкина, ни Гоголя, ни русскихъ пророковъ, ни русской річи, — а былъ бы лай собачій и басурманскій голосъ: «испоб... прадгубкомдезертир... мовсу... внуз»...?

#### П

Да, — и не такъ еще забормочешь, отъ такихъ приключеній!... Ну, поймите же, милыя ночи, мою тоску! Бътуть дни, чередуются ночи изгнанія, о, не вы, родныя передрягинскія ночи! Я убъжаль отъ васъ, потому-что увидълъ на вашемъ небъ кровавыя слезы! Какіе ангелы, какіе святые страстотерицы такъ плакали, ночи, на вашихъ холодныхъ вершинахъ!... И никакъ я не могъ подумать, что найду здъсь все ту же старую компанію, съ тъмъ же неразвънчаннымъ челомъ, съ тъми же фракціями, съ тъми же ячейками; и опять: «съ одной стороны нельзя не признаться, а съ другой стороны нельзя не сознаться!» И опять они ковыряють нечистыми руками мою лушу, — нътъ-ли гдъ-нибудь на ней партійнаго клейма, — и не найдя, пристають возмутительно: «Кто вы? Кто вы, загадочный вы человъкъ? Кто вы, темный вы человъкъ?! Кто вы.

сукинъ вы сынъ?!!» И невдомекъ имъ, что я тольво сынъ передрягинскихъ ночей, такой ослабъвшій, такой худой, такой послъдній, самый послъдній...

И воть, бъгуть дни, чередуются ночи изгнанія, — о, не вы, родныя... А я все брожу по холодной каморкъ и по улицамъ большихъ городовъ, — которые я когда-то любиль, а теперь разлюбиль, - и все горюю, и плачу, и сомнаваюсь, увижу-ли снова васъ, - ой-ли, передрягинскія ночи? Преклоню-ли снова кольно подъ вашимъ синимъ шатромъ, склонюсь-ли растроганной памятью надъ темъ, что было, въ раздуміи смиренномъ надъ многими вашими тайнами и чудесами... и надъ моими бывалыми чудесами, -ахъ, вы, передрягинскія ночи! Помолюсь-ли отъ чистаго сердца Господу Богу, да упокоить Онъ души рабъ Своихъ, малыхъ и неразумныхъ сихъ, въ междоусобную братскую брань вовлеченныхъ, во многихъ мукахъ жившихъ и терифвшихъ — и усопшихъ подъ вашей омраченной сѣнью, — о, вы, передрягинскія ночи!..

А они (изъ ячеекъ!) и теперь смѣются надо мной — за то, что я и теперь, какъ прежде, ни къ кому изъ нихъ ютиться — не хотвлъ, приткнуться — не могъ, и на каждаго изъ нихъ неизмънно взиралъ либо съ лукавымъ смиреніемъ (ради хлібоца!), либо (чаше всего!) съ неописуемымъ изумленіемъ! Они смъются... Какъ-же имъ не смъяться надо мной, когда я до сихъ поръ не знаю ни правой, ни лѣвой, и не вижу середки... И не вижу ничего, кромъ пустоты и мрака и тусклыхъ ярлыковъ надъ полинялыми мозгами! Какъ-же имъ не смъяться надо мной, когда я и теперь не разберусь, кто изъ нихъ малость влёво RT0 тронулся, а кто всемъ тронулся! Какъ-же имъ не сменться надо мной, когда я шатаюсь, какъ пьяный, вправо и влево, вкривь и вкось, по складамъ читаю надписи на лбахъ, прохожу мимо — и все ищу человека, не пьянаго и не дурного, не гордаго и не мудренаго, не ученаго и не оратора, а всего-только добраго и вольнаго человъка, который бы на русскомъ языкъ разсказалъ мнъ сказку, милую сердцу сказку—о томъ, какъ пораженная доблестью и молитвами върныхъ сыновъ своихъ, воскресла изъ мертвыхъ Передрягинская Ночь! Какъ-же имъ не смъяться надо мной, надъ обывателемъ, надъ безыдейнымъ, надъ мъщаниномъ!

И хихикають партіи, смінотся фракціи, хохочуть подфракціи, покатываются ячейки! Смеются политическіе, по причинамъ высоко-политическимъ загасившіе на должномъ мѣстѣ солнце Россіи; смѣются аполитическіе. Ръ цёляхъ высоко-аполитическихъ выпустивше это солние, въ улучшенномъ видь и на хорошей авменкой бумагь и съ благословенія німецкой полиціи, на безлипскій небосклонь! Они смеются... — такъ точно, какъ тамъ, въ Россіи, смѣялись и всласть насмѣялись другіе: Ленинъ съ Троцкимъ, троцкихъ дёль мастера съ лукавцами ленинскаго толка, со всей коммунистической братіей, съ Максимомъ Горькимъ и съ товарищемъ Коллонтай! Они смінотоя... Вы этомы смін больше деревянной тупости, больше шутовства и наглости, нежели въ музыкальномъ квинтетъ осатанълыхъ негровъ въ залв парижекаго dancing а. И онъ быль бы ужасень, этоть смвхь, — если бы онь не внушаль мив серьезныхъ надеждь на то, что въ рвшительномь будущеми, когда мой энгель будеть поблизости, и всъ святые туть же, и я дерзну покаяннымъ разсказомъ о всей своей жизни, и покажу свою бълоснъжную гражданскую душу, всю въ язвахъ, всю въ ранахъ, отъ мучительныхъ воздержаній, отъ сугубыхъ постовъ, и упомяну о негритянскомъ смъхъ, которымъ аккомпанировались мои упорныя блужданія на путяхъ передрягинскихъ, — то, именно, изъза этого смъха мнъ многое будеть отпущено. Многое.

— 0, ночи!... И даже — кто знаеть — можеть-быть, и то, что я, пожалуй, слишкомъ часто склоняюсь памятью къ этому: «Такъ люблю, что-ажь....»

Да, и даже тв, которые когда-то, ничего не понимая въ моей душт, уговаривали меня убивать русскихъ городовыхъ, видя въ этомъ замъчательное средство для возвеличенія Россіи, — даже и эти смінотся надо мной! А я никого не убиль... А они теперь стали патріотами, по случаю большого застоя въ революпіонныхъ дълахъ. А я никого не убилъ. А они смъются... Ну, что-же мит теперь, ночи-ноченьки, дтлать? Къ кому понести мою одинокую душу? Я тоже смъюсь надъ ними, надъ франкціями... Смъшно мнъ ужасно... Забавляюсь я... Но иногда, въ иную холодную безсонную ночь, среди такого двойного изгнанія, прорвется и заливаеть мою душу тоска. Не за себя, не за свое одиночество, не за свою отравленную жизнь, — а за ихъ глупость неизбывную, за их такое лютое безстыдство... Эхъ, фракціи, шуть съ вами! Нужно же, въ концъ концовъ, понять, что подобно тому, какъ мадамъ Мармеладъ, по своимъ мармеладнымъ затъямъ и вкусамъ, сотворила свою Россію-соусь пикань, и затемь безпрепятственно въ ней наслаждалась, презирая всъхъ прочихъ — остолоновъ, ословъ, идіотовъ, такихъ неинтеллигентныхъ, такъ точно и вы, партіи, фракцін, ячейки, — замкнувшись въ своемъ кругу. перевариваясь и развариваясь въ собственномъ соку, якшаясь только другь съ другомъ, никого не видите, ничего не видите, ничего не знаете... и продолжаете думать, что та, настоящая Россія — вамъ принадлежить... о, праведныя передрягинскія ночи!

#### Ш

Нътъ, не ваша она, *настоящая* Россія, — не ваша, совътчики дукавые, указчики дурные, и не

ваша, погоняльщики недостойные, и ужъ, конечно, не ваша, дихіе молодчики — душегубы презрънные! И даже не моя...охъ, и не моя, — потому что я слабъ, худъ и съ робкими глазами. А ты, обозникъ съверный... — ну, и здоровь же быль твой православный животь, и какой саженный коль въ плечахъ, а глазомъ, бывало — я самъ это видълъ; — и подъ пушкой не моргнешь, а волосъ у тебя дикій, усы и бороденка путанные, и похожъ ты на лешаго, обозникъ съверный! А опоящешься казачьимъ ремешкомъ, такъ и поступь другая, и вспорхнешь, какъ птица, на любомъ конъ! А какъ надънешь звъриную шкурку почище, — простой мужичекъ въ тулупъ, — да въ Божій праздничекъ, со своей молодухой, да на саночкахъ самодълковыхъ, да какъ возьмешь изъ деревни направо, чтобы зря не валандаться полемъ въ объездъ, да какъ ухнешь черезъ речку, наискосокъ, — эхъ, плевался вътеръ! А какъ... да еще разъ «а какъ...», да еще, и еще... да ты дай только волю полету мыслишекъ, пъвецъ слабосильный, такъ отжватишь отъ большого пирога краюшку въ птичій носокъ, наковыряещь песочку изъ гранитной скалы — и ничего не разскажещь! Какъ же я, такой ослабъвшій, такой худой, такой зябкій, съ такими робвими глазами, могу считать ее моей — ее. Настоящую Россію — когда она твоя, и только твоя. обозникъ сѣверный!

Слушай, обозникъ сѣверный! Вѣгутъ дни, чередуются ночи изгнанія... Когда въ такія холодныя ночи, чтобы развѣять по вѣтру мою думку, я брожу по улицамъ большихъ городовъ, — я часто встрѣчаю разныхъ людей... Странное дѣло, все знакомыя лица! Иногда, встрѣчу я такого непонятнаго человѣка... Бѣжитъ, съ размаху, здоровенными шагами, точно на свадьбу торопится! А потомъ, вдругъ, встанетъ, какъ вкопанный, у большого темнаго дома; постоитъ, съ усерднымъ вниманіемъ на землю посмо-

трить, потомъ на темный домъ, потомъ на дерево насупротивъ дома; потомъ глаза кверху вздереть, на небъ что-то выискиваеть; а затьмъ, нежданно, поворотить всиять, да въ обратную сторону какъ дасть маху, опять на свадьбу спешить! Да вдругь, снова встанеть, вездъ тебъ все осмотрить, провърить, все ли на своемъ мъсть; ну, а затъмъ, задравши нось кверху, стоить, очень собой довольный, мурлыкаеть, напъваеть звъздочки на небъ считаеть: ужъ очень ихъ много! И вижу я при свъть тъхъ звъздъ, что у человъка этого тъло полуголое, а на тълъ такомъ шинель болтается, вся въ дырахъ... шинель такая, какъ ты носиль въ походахъ, обозникъ свверный. — русская шинель; а на шинели, трубочками поперекъ свернувшись, такъ-что насквозь видно. стоятъ погончики. Диво-дивное! Посмотришь въ трубочки: видишь, электричество на фонаряхъ горить: а взглянешь сверху, въ глазахъ темно станеть отъ удивленія: погончики — вродѣ тѣхъ самыхъ, какіе ты носиль, обозникь сверный, когда за родину свою воеваль, погончики боевые! Да туть еще они — офицерскіе... Много я виділь такихь на трупахь, подъ Тарнополемъ и Калущемъ, въ 1918-мъ году, когда ты, обозникъ съверный, домой побъжаль, а господа офицеры, замъшкавшись, одни, съ нъмцемъ перестръливались, а затъмъ на него въ штыки ходили; много ихняго брата, офицеровъ, тогда нъмецъ перебиль, — нешто они могуть безъ солдать, царствіе имъ небесное... Стоить теперь челов'явь въ чужомъ краю, полуголый, на плечахъ трубочки электричествомъ поблескивають, въ глазахъ отъ холода слезы... Увижу я его, подойду къ нему, спрошу: «Кто вы?» А онъ мнъ, въ отвътъ: «Я сынъ передрягинскій, скитаюсь по світу въ поискахъ сочувствія... и куска хліба! Остался, знаете ли, вірень союзникамъ... Три года въ ту войну воевалъ, съ Колчакомъ, съ Деникинымъ, съ Врангелемъ ходилъ Россію освобождать, пять пораненій, есть Георгій, есть и съ мечами и съ бантами... хотите, бумаги покажу?» — «Не надо — скажу — такъ повърю!» Затьмъ, помолчимъ... Потомъ, я спрошу: «Что же вы такъ... этакъ... гуляете?» А онъ — отвътить не сразу. Сначала, — работая двумя руками одновременно, снизу-вверхъ, слегка присъдая, подтянеть падающе штаны — шуйцей, и высморкается — десницей. А затемъ, скажетъ: «Къ кому-же теперь пойти, вы не знаете-ли, коллега?» Коллега?! Что-жъ! Въ одномъ университеть мы не обучались, но за-границу, на безсрочное пополнительное обучение были посланы на общихъ и такъ сказать симпатическихъ началахъ. И вышли — коллеги!... Тогда, скажу я ему среди ночи, такъ скажу ему среди ночи: «Здъсь много партій, фракцій... есть и разнообразныя ячейки!» А онъ мнѣ, рѣшительно: «Ни черта я во фракціяхъ не понимаю!» Ничего я ему на это не отвъчу... попрощаюсь словомъ пустымъ и холоднымъ, пойду, подумаю: «Эхъ, ты, сынъ передрягинскій!» А онъ мнь. вдогонку — не человъчьимъ голосомъ, а собачьимъ лаемъ: «Ну, а гдъ здъсь выдають хлъбъ, вы не знаете-ли, коллега?» Подумаю опять: «Сказаль бы я тебѣ, коллега безглазый!» И прочь зашагаю... Но когда, отойдя отъ него, невзначай оглянусь — и увижу, какъ онъ подойдеть... къ одной такой штукъ. — какъ это тебъ объяснить, обозникъ съверный. къ такой штукъ: бочка — не бочка, и не лохань, и не корыто, а вродъ большого ведра, куда наши союзники сбрасывають всякое добро, чтобы въ квартирахъ больше простору было; ну, и чистоту, тоже, соблюдають, мышей остерегаются... — когда я увижу, какъ онъ, мой коллега съ погончиками въ трубочку и съ электрическимъ блескомъ, онъ, сынъ передрягинскій, съ Георгіемъ и съ мечами и съ бантами, съ пятью ранами на полуголомъ тълъ, шелкая. отъ холода зубами, съ ворчаніемъ и съ хрипомъ. копается руками въ поганомъ ведрѣ, мимо котораго и заграничные псы безучастно бѣгаютъ, — когда я увижу это... — о, мать моя, Передрягинская Ночь, о, пронзенная мать — Россія, вскричу къ тебѣ: «Ты видишь?! Ты слышишь?!» И всколыхнется воздушная храмина отъ края до края, пахнетъ на меня изъ далекой страны предмогильнымъ дыханіемъ, и чудится мнѣ лепетъ истерзанный: «И вижу... и слышу!...»

Слушай меня, обозникъ съверный! И случается, въ холодныя ночи изгнанія, встрвчу я русскую женщину. Она еще не старая, — быть можеть, ей нъть и сорока! Но, только, въ безпорядки повисли съдыя пряди волосъ надъ взбаламученнымъ челомъ. — и какъ туть скажешь о лътахъ, когда щеки провалились и безуміе застыло въ глазахъ! Подъ порыжівшей легкой накидкой видень чегный нагрудный фартукъ, а на фартукъ — красный крестъ. Она была твоей милосердной сестрой, обозникъ съверный, въ тъ дни, когда тяжела была твоя доля, честнаго бойца за родину! При царъ тебя берегла, и при Деникинъ за тобой ходила, и при Врангелъ служила тебъ... И была у нея дъвочка, четырнадцати лътъ, которую она, отъ убійцъ убъгая, довезда, съ собою ло самаго Константинополя. И украли здъсь у нея ету дъвочку. Кто украль, — неизвъстно. Можеть быть, сама затерялась. А она, мать, говорить, что украли. И подшутили надъ ней злые люди, сказали про ея девочку, что она живеть въ Париже, съ принцами знатными знакомство завела, въ брилліантахъ ходитъ. И прівхала мать въ Парижъ, и долго эдъсь искала свою дъвочку: всь улицы обходила. го всёхъ канцеляріяхъ была, въ ночные рестораны заглядывала, въ чужіе дома, смішная, заходила... — и ничего не нашла! Тогда показалось ей... поръшила она такъ, что надо бы ей по всему міру повздить, во всехъ большихъ городахъ побытать, во

вськъ канцеляріяхъ толкомъ разспросить, во вськъ ресторанахъ все подсмотръть, по чужими домамъ пошарить! И собралась она въ дорогу... А денегъ не было... А потомъ не стало и одежды приличной, пи башмаковъ, ни хлъба, — и никуда она не уъхала, потому-что и до вокзала ее не допустили. А потомъ она разучилась плавно разговаривать, у людей крова попросить не умъла. Монашки ее къ себъ почевать пускали, а она и отъ нихъ уходила, и все къ вокзаламъ бегала, вокругъ вокзаловъ ходила, ища выхода на разныя далекія страны, азіатскія и заморскія, гдв всякія канцеляріи неопрешенныя, рестораны непровъданные, чужіе дома необысканные... И однажды, подъ вечеръ и въ дождичекъ, на одной большой улиць, увидьла она, какъ три знатныхъ домика въ землю тихонько провалились, на мъсто домиковъ встала русская дачка, a тераской и садомъ, съ очень ей знакомая. но, только, пустая, обвътренная, дикая; длв дачки, у самой тераски, сидить на землв ея дъвочка, босыя ножки поль себя полжала, головку на грудь свъсила, вся, какъ отъ слабости, разметалась и, только, глазами вдаль уставилась — и такъ, не шелохнетъ, не шевелится; а сверху, на девочкину головку, дождичекъ: «тукътукъ-... тукъ-тукъ... тукъ-тукъ...»! Тогда-то и пошла опа въ Россію, на дочерній зовъ, въ знакомыя мъста - и до сихъ поръ торопливо идеть, не останавливает я, по всемъ площадямъ, да угламъ, да закоулкамъ Парижа носится, старымъ подоломъ юбки мостовую подметаетъ съдою гривой на вътру помаживаеть, глазами небу подмигиваеть, а на губахъ ея - слова непонятныя, тихія. И случится, увижу я ее въ ненастное время, и невзначай уловлю съ ея усть непонятное слово... — какъ взмолюсь я къ тебъ, Передрягинская Ночь, какъ вскричу къ тебъ снова, о, произенная мать — Россія: «Ты видишь?!

Ты слышишь?!» Тогда доносится до меня необычайный грохоть разрываемыхъ стремнинъ времянъ грядущихъ... Время грядущее свершается быстро... рвется, свищеть... разорвалось, свершилось, встало туль какъ туть: прошли года!... И вижу я, въ просвчинъ тайной, русскую мъстность, всю залитую солнышкомъ. Межъ полныхъ золотыхъ копенъ хлеба, идуть мужички складные, чистые; рубашки выпущены алыя, сапожки поскрипывають, картузики блестять; а мужички свободно съмячко погрызывають о бываломъ разговаривають. О фракціяхъ, о подфракціяхъ. о ячейкахъ — отплюнутся и ни гу-гу! Но говорять они о многихъ великихъ подвигахъ отважныхъ бойцовъ за свободу, о возстаніяхъ народныхъ... -- и поминають добрымъ словомъ техъ, кто въ позорные и страшные годы, когда все адово огребые изъ адовыхъ трущобъ, слетвишись надъ Русью, плевало и смердило на русскую землю, а народъ Россін, въ безчинстев, въ помраченіи разума и ввры, убивалъ невинныхъ и изгонялъ праведныхъ, — въ далекомъ плъну, на чужой сторонъ, среди безотвътныхъ чуждыхъ людей, безъ крова, безъ хліба, съ тоскою русской въ сердив, скитались по разнымъ пустыннымъ мъстамъ, по разнымъ проклятымъ пропинкамъ изгнанія... и все стерпъли, все выжили, все испытали — и дождались, наконець, желаннаго вова, тебя дождались, Обозникъ Стверный, тебя возставшаго, тебя грознаго, тебя за поруганную родину Мстителя!

Обозникъ Сѣверный! Пять лѣтъ крутила вьюга, занося твой желѣзный обозъ. Много народу искало его! Забила ихъ вьюга... навалила большія глыбы на могилы павшихъ въ путяхъ, разметала по цѣлому свѣту слѣды ихъ доблестной пяты. А ты, Обозникъ Сѣверный, столкнулъ въ канаву слѣпого вожака, ты — изобличилъ передъ цѣлымъ міромъ погоняльщиковъ недостойныхъ, и распотѣшилъ всю Европу и

многія заморскія страны своими указчиками дурными, совътчиками лукавыми. Погибъ твой старый обозъ! Погибъ твой древній вожакъ-на невѣдомомъ мъсть, куда завели его лихіе молодчики, душегубы презрѣнные; погибъ онъ безслѣдно, — такъ, что и къ могилъ его, теперь, подвыюжныхъ путей не найти! А отъ погоняльщиковъ недостойныхъ, а отъ указчиковъ дурныхъ, а отъ совътчиковъ дукавыхъ — ничего, кромъ срама великаго и смъха горькаго, ни слыхать, ни видать: не осталось! И ничего теперь отъ Россіи не осталось, кром'в тебя, одинокаго, Обозникъ Съверный, и лихихт молодчиковъ — душегубовъ презрѣнныхъ, похитчиковъ добра и чести. Ну, такъ оборотись же на самого себя, Обозникъ Съверный! Стыдно тебъ, льшему, голодную корку хлъба сосать, жену не жальть, сиротинокъ по міру терять, на чужихъ людей спину гнуть, на палачей твоихъ окаянныхъ, на безбожниковъ... Ну, и взгляни же, Обозникъ Сѣверный, на равнину, гдѣ погибъ твой жельзный обозъ! Какая черная пустынность повисла надъ ней, — какая тьма ее объяла! Ну, такъ чего еще ждешь, Обозникъ Съверный? Ступай же, маршъ, въ пустынность русской жизни: да будеть свъть!

#### IV.

И еще слышаль я, какъ кто-то говориль среди ночи изгнанія:

«Блаженны вы, бродяги ждущіе! Блаженны вы, видёвшіе задумчивую пыль послёдняго лёта русскаго фронта, — когда она никла къ землё въ раздуміи медлительномъ и тосковала дого, упиваясь холоднымъ золотомъ заката. Блаженны, если видёли и душой запомнили! Блаженны вы, слышавшіе тишину русскихъ предёловъ — ръ тоть часъ, когда врагъ

пересталь ломиться въ Россію, но свободно и быстро пошель впередъ. Блаженны, если слышали и душой запомнили! Блаженны вы, если ни волей разумною и ни однимъ помышленіемъ не сотворили и единой капли той чаши горечи, къ которой съ тъхъ поръ прильнула устами Россія. Блаженны, — ибо дождетесь избавителя, и онъ позоветь васъ въ Россію!

«Но горе вамъ, если вы превратите изгнаніе свое въ пустыню дикую, гдъ только ляскъ зубовъ и голодный шакалій вой! Тогда развѣете одиночество думахъ безплодныхъ, въ сѣянныхъ дѣлами будущаго, въ любви и нена-Тогда возненавидите неутоленныхъ. Тогда возненавидите Россію. друга. висть къ Россіи — болѣе, нежели все прочее, нужна врагамъ Россіи и темъ, кто съ ними, здъсь, близко къ вамъ, бродяги ждущіе. Ибо, поистинъ, и самая большая ненависть къ нимъ лично — въ стократь имъ менве страшна, нежели и самая малая капля истинной любви къ Россіи. Недаромъ, желая возвеличить себя, они, сильные только лукавствомъ, никогда не говорять: «Смотрите, какіе мы хорошіе!» (ибо кто-бы имъ въ этомъ повърилъ!); а всегда: «Смотрите на настоящую Россію, какая она негодная!» Й тогда всв смотрять на васъ, бродяги ждущіе! Итакъ не возненавидьте ни другъ друга, ни Россіи! Потому-что, тогда, не дождетесь избавителя, и онъ не позоветь васъ въ Россію. А если, когда придеть и не позоветь васъ, вы всетаки, сами пойдете, безъ зова, — вы, ненавистники, вы, маловеры — то и тамъ найдете пустыню дикую. гдъ будеть только ляскъ зубовъ и голодный шакалій вой!»...

Я видълъ синія глубины передрягинскихъ ночей. Я слушалъ античную музыку ихъ полнозвучныхъ сводовъ. А въ иные благіе часы, въ смиренномудріи, я думаль о томъ, что за этими сводами покой Господній могь быть ненарушимъ. Возлюбленныя ночи! Непонятыя нашимъ жалкимъ умомъ, не-воспѣтыя чистымъ сердцемъ, онѣ погасли подъ неподвижнымъ взоромъ Бога, дабы свершились Его неисповѣдимыя пути — надъ тобою, Россія! А нынѣ... вы стережете мои слабѣющіе шаги и ловите невѣрный бой моего сердца, — вы, холодныя ночи изгнанія! О, мои ночи... и ты, далекій Обозникъ Сѣверный... и вы, на этихъ пустынныхъ путяхъ идущіе рядомъ со мной, бродяги ждущіе... — добро же! Я хотѣлъ бы въ простыхъ словахъ повѣдать вамъ еще одно воспоминаніе, которое томить меня, какъ сила непонятная, карающая и любвеобильная, какъ ночь и солнце, какъ свѣтъ и тьма, смѣшавшіеся воедино...

Бываеть такъ, что на поверхности ръки спокойной и большой, какъ взглянешь на нее въ иную полнолунную летнюю ночь, увидишь — только гладь, только великій покой, только чудную, отъ Бога, тишину незыблемыхъ водъ. Не струится замлъвшая влага. Ни слабый плескъ не встревожить чуткое ухо, ни дрожи, ни мельчайшей ряби не уловить настороженный глазъ. Но где-нибудь за береговымъ скатомъ, среди осоки и камыша, лодка досчатая, ветхая, безвесельная, и давно здёсь забытая, дрожить и странно бъется отъ силы невъдомой. И если подойдешь къ ней ближе, и встанешь сторожко невдалекъ отъ ея ночного силуэта, возлъ самой воды, -- увидишь, въ лунномъ свёть, непонятный безвольный трепеть ея тъла, услышишь скрипъ, звяканье безвесельныхъ ключицъ, и кряхтеніе, и ропоть стараго захолоделаго днища. То ли таинственный родникъ здёсь проносится подводною стезей, то ли свободная игра глубинныхъ теченій или прибрежныхъ колыханій рождаеть этоть трепеть и эту жалобу, среди окрестнаго глубокаго сна природы? Невъдомо... да и все равно! Кто это вильль и слышаль, когла вътакую ночь стояль надъ застывшей рекой, тоть думаль о непонятной силь, которая вечно бродить подъ типайшимь покровомь мірозданія... и воть, находить одинокій заброшенный челнь, и бьеть его, и стережеть его муку, и бьеть, и добиваеть. «Не можеть быть!» — лепетали тогда губы. И сердце вторило: «Не можеть быть!... Не можеть быть!...» Но все же, невольно думалось и о томь, какъ жутко на этомъ свёть человеку, даже среди услады забвенія и отдыха, даже въ обманчивой безмятежности сна, и всегда, всегда...

И быль когда-то, въ Россіи, человікть, съ сердцемъ ветхимъ, подобнымъ тому осужденному челну. Въ смиреніи упорномъ, съ тайнымъ благословеніемъ, онъ думалъ о томъ, что его малозначущая заклятая судьба сольется съ великими далями русскихъ рікъ — и тогда потонетъ въ милосердіи звізднаго неба. Потому-что онъ зналъ, что и тишайшія, завороженныя ночью, річныя воды идуть къ великимъ просторамъ! И такъ онъ жилъ, и не боялся своихъ уходящихъ дней... Ну, а теперь, — для чего, Россія, горять надъ тобой эти звізды? И куда идутъ твои воды? Или, тоже, никуда не идутъ — и, тоже, только иходять?!

Простите меня, передрягинскія ночи!

Молитесь Господу за меня, — о, вы, безропотно погастія ночи!

Январь, 1922 г., Парижъ

#### вооружимъ наше сердце!

(Предчувствія)

«И на него-то Ты отверзаешь очи Твои и меня ведешь на судъ съ Тобою?» (Книга 1ова, X1У, 3)

I.

Я нашель въ своемъ дневникъ небольшую запись о полевыхъ цветахъ, подаренныхъ мне въ іюньскіе дни 1918-го года, въ Москвъ. Они долго стояли на моемъ столь, очень долго: я видьль, какъ изо-дня въ день они обмирали, чахли, постепенно превратились въ ничтожную ветошь... и я выбросилъ ихъ въ мусорный ящикъ только къ концу августа. Это было вскорь посль того, какъ Фанни Ройлъ-Капланъ, такая маленькая, одинокая, героическая, -столь неведомая, почти загадочная, — стреляла въ Ленина — и сама погибла. Я не зналъ ея. Но знаю, но чувствую что въ ея взбаламученной жизнью душт было тихое дно, гдв воды текли такъ ровно! Когда, тотчасъ-же после выстрела, она услыхала обычную русскую брань, увидёла недоумённыя, смутныя лица, - ея рука судорожно опустилась къ карману жакетки за ядомъ; очевидно, въ ту минуту, помышляя о смерти (скоръй! скоръй!), она инстинктивно хотъла предотвратить самое страшное: надвигавшуюся на нее пустынность русской жизни. Върно и то, что людскія толпы тіхть дней, равнодушныя къ судьбі Ленина, остались равнодушны и къ участи ея, этой отважной и праведной дівушки, которую другой народъ возлюбиль бы страстно и ніжно, какъ свою крестоносицу, какъ великомученицу за родину и свободу. Но пустынность русской жизни поглотила ее; ее — и память о ней!

На столь полевые цвыты. Они такъ ныжны, столь исполнены простого, невыразимаго никакимъ словомъ, обаянія! Описать ихъ, разсказать о нихъ никакъ нельзя! Блёдно-красная гвоздика, бёлая ромашка, вдовушки сиреневыя, василекъ; кашка бълая, и желтая, и розовая; коричнево-зеленые бутоны и фіолетовые пушки колючки, травка-пътушки и кукушкины слезки, желтый побережникъ, два-три ржаныхъ колоса... и вокругъ всего — трава, просто зелень безымянная, или мнв неввдомая. Чудесныя красочныя порожденія, нерукотворныя узорчатыя твла. — въ ризахъ, въ ввицахъ, въ ореолахъ, постигаемыя только сердцемъ, понятныя только дѣтямъ и темъ, кто истинно любитъ Бога; ибо Божій разумъ и Божья доброта на полевыхъ пвътахъ опочили. Своей любви къ нимъ, и благодарности, и поклоненія — нельзя выразить восклицаніями земного восторга; едва допустимо выдать очарование свое въ невольномъ вздохѣ о мирѣ, о любви человѣка къ брату своему — человъку, и о Немъ, о Богъ: слава, Господи, слава полевымъ цвътамъ!

Я гляжу теперь мысленнымъ взоромъ — отсюда, съ чужбины — на тѣ полевые цвѣты, вспоминаю ихъ... въ душу просится умиленіе! Но въ сердцѣ неугомонномъ, еще не наболѣвшемъ вдоволь, все тотъ же шорохъ, шелестъ, и слабая дрожь, и рвеніе: тамъ, подъ тяжкимъ гнетомъ мглы и неволи, упорно произрастаютъ иные дикіе цвѣты — тѣ, которымъ имени нѣтъ.

Вооружимъ наше сердце!

Однажды, все въ тъ-же іюньскіе дни,—не помню, быль ли то будній вечеръ, или канунъ праздника, — я явственно услышалъ странный деревянный звонъ, раздавшійся съ колокольни какой-то церкви. Ночью же, въ безсонницу, мнѣ почудилось, что всѣ московскія церкви зазвонили такимъ деревяннымъ звономъ. Былъ звукъ, звонъ, — но безъ вибрированія: звонкій стукъ! Сухой, смертельный, ужасный. И, Богъ-вѣсть почему, я подумалъ о всемосковскомъ пожарищѣ.

На другой день я разсказаль о слышанномъ мною необычайномъ звонъ одной пожилой и весьма религіозной дамь, жившей въ Москвь въ глубокомъ одиночествъ, безъ родныхъ, безъ знакомыхъ; она жила по-близости, занимала отдельную комнатку у знакомыхъ мнъ людей. Она пріъхала изъ Кронштадта; тамъ, вскоръ послъ октябрьскаго переворота, она потеряла семью, дътей и почти все имущество. Она жила впроголодь, никого не принимала, а изъ дому отлучалась, кажется, только въ церковь. По ея просьбъ, я почти ежедневно заносилъ къ ней газеты, - и иногда она задерживала меня, прося посидъть съ нею и разсказать о событіяхъ и слухахъ. Подчасъ она вспоминала своихъ погибшихъ пътей. свою родню, — говорила о техъ, кто были убиты, и о другихъ, убъжавшихъ и пропавшихъ безъ въсти, безследно. Какъ все это случилось, за что, и почему. — она не понимала, не могла понять. За что погибъ ея сынъ, офицеръ; онъ, честно сражавшійся за родину, никому зла не дълавшій, и о злъ никогда не помышлявшій? Она не понимала... Но свои разсказы о счастливомъ прошломъ и о недавнемъ ужасв, такомъ непонятномъ, смутномъ, и унесшемъ столько доропихъ жизней, она неизмънно, всегда,

заканчивала однимъ и тъмъ же восклицаніемъ: «Но — все отомстится, все!» И эти слова, мрачно срывавшіяся съ устъ старой, богомольной и весьма доброй женщины, звучали не менъе странно, чъмъ деревянный звонъ съ колокольни невъдомой церкви.

Когда я сказаль ей объ этомъ звонъ, слышанномъ мною наканунъ, она взглянула на меня съ

удивленіемъ, почти гиввно:

— Вы только теперь это замѣтили? Ну, сразу вижу маловъра!

Ну, а она уже давно слышить... этоть деревянный звонь! Это черти справляють свой шабашъ надъ оскверненнымъ Кремлемъ. Въ эти безымянные дни, въ эти безсмѣнныя будни и кануны новыхъ будней, вся погань изъ ада вьется и хороводить надъ Москвой, и бьеть копытами, хвостами и перепончатыми крыльями о мѣдную твердь бездушныхъ колоколовъ Первопрестольной.

Я спросиль ее, — почему это такъ?

Она отложила ручную работу, которой была передъ этимъ занята. Сняла очки. Я увидѣлъ выцвѣтшую синеву ея старческихъ глазъ. Въ нихъ была смирившаяся мука, была и рѣшимость. Боль зазвучала въ ея голосѣ:

— Но вѣдь у насъ отняли душу! Но вѣдь мы живемъ безъ души, какъ окаянные! Какъ вы не понимаете, что поэтому и колокола звучать по-деревянному?

Затьмъ она говорила о томъ, что Россія должна много пострадать и пройти черезъ великія испытанія, чтобы узнать всьхъ своихъ враговъ, большихъ и малыхъ, явныхъ и тайныхъ; а враги Россіи должны погибнуть: они будутъ истреблены — всѣ, отъ перваго до послъдняго! И опять она повторяла: «Все отомстится, все!...»

Она говорила долго. Въ словахъ и голосъ ея чередовались сегодняшняя покорность и въра въ гря-

дущее возмездіе... Перебольда душа, смежаются очи. смиренно сложены усталыя руки, — можеть быть. и могила близка! Но внаеть одинокая старость упорную думу о величіи Россіи — и думаеть свою думу по-своему, томится въ предчувствіи народнаго суда, чуеть грозную силу, върить... и върою этой возжигаеть свёть надь неисповедимыми далями русской жизни! Я не запомниль всёхь ея словь: но смысль сказаннаго и мрачное вдохновение остались въ моей памяти и жили во мнв постоянно, — живуть и теперь, когда осуществляется угроза превратить Россію въ развалины и въ кладбище. И сколько разъ позже, въ теченіе трехъ льть, я слышаль все то же отъ многихъ не злыхъ людей, — не злыхъ, а до-брыхъ, и кроткихъ, и когда-то — въ той прежней жизни, канувшей въ смутное прошлое — истинно любившихъ полевые цвъты...

— Не тогда, — говорила она, говорили позже и многіе другіе, — не тогда отняли у народа душу, когда научили и заставили его убивать, грабить, и осквернять храмы; это онъ и прежде дълаль, въ прошлой исторіи своей. А тогда отняли душу, когда научили и заставили народъ думать, что, поступая такъ, — убивая, грабя, и оскверняя свои святыни, — онъ поступаетъ хорошо. Такая увъренность въ своей правотъ, среди низостей гръха и распутства, всегда была чужда народу; а вотъ его вынуждають... Что-жъ, если нужно задушить голосъ совъсти... что-жъ, будемъ жить безъ души! Значитъ, такъ оно и надо; премудрость эту осилить не трудно. Поэтому, мы и повалили толпами къ нимъ, къ большевикамъ. Мы всв пойдемъ къ нимъ, всв! Мы сами станемъ большевиками! Но имъ, врагамъ Россіи, отъ насъ не уйти! Мы придемъ къ нимъ по всъмъ путямъ и перепутьямъ россійскаго горя и нищеты, — потечемъ къ нимъ, какъ осенніе листья, гонимые выюгой къ проклятому оврагу. И отдадимъ на ихъ волю и

усмотръніе нашу жизнь и самую душу нашу. Станемъ лукавые и жестокіе, какъ они... Будеть одна Россія, большевицкая, безъ жалости, безъ предразсудковъ, не знающая ни любви, ни добра, ни пощады... Насъ будетъ великое множество. И будетъ у насъ единая воля, единая затаенная клятва: истребленіе враговь Россіи — навѣки-вѣчные! Мы всѣ будемъ съ ними... сплотимся вокругъ нихъ! И не будеть имъ дано знать ни дня, ни часа, когда мы откроемъ передъ ними свсе русское липо! Но когда зазвучать московскіе колокола (пусть уцільеть хотя бы одна колокольня!), когда — посл'в годовъ молчанія и бездушныхъ деревянныхъ призывовъ, среди пустынности русской жизни, раздается первый свободный звонъ, — прежде, чемъ радость настанеть. — будеть, будеть ужась! Потому-что богохульственно втоптаны въ грязь полевые цвъты, на которыхъ Божья доброта опочила, — и въ сердцъ народа Россін тогда распустятся ть цвьты, которымь имени нътъ...

Вооружимъ наше сердце!

#### Ш.

Съ тъхъ поръ прошло три года. Погань, которая вьется и хороводить надъ оскверненной Москвой — торжествуеть. Погань побъдила. Россія низвергнута — и умираеть.

Колокола стучать деревяннымь звономъ, Россія умираеть. Люди, у которыхъ отняли душу, — гибнуть. Одинъ за другимъ, въ мукахъ безумія и голода, падають на опустошенную землю свою, на безплодную грудь Россіи. Волга... — тамъ бродять голодныя людскія толпы, тамъ ихъ убивають, когда они просять хлѣба. Тамъ бродять и голодныя дѣти, без-

призорныя, сирыя; иныхъ изъ нихъ топять, чтобы они не просили хлѣба. Волга.—Волга...—дали русской жизни... — Стенька Разинъ, бросающій въ пучину прекрасную царевну: гибель русскаго романтизма! Что, если бы любовь побѣдила! Ахъ, кабы не было страха людского!...

Развѣ можеть быть еще большій ужасъ? Развѣ не всѣ ужасы уже совершились? Развѣ печаль, тоска, мечты—еще не изжиты? Почему же въ неугомонномъ сердцѣ все тотъ же шорохъ, шелестъ, и слабая дрожь, и рвеніе... и тѣ цвѣты, которымъ имени нѣтъ? Точно хотятъ они возрадовать злобу сердца! Развѣ это возможно?

Нътъ, не смириться ему до конца, — пока бодрствуетъ врагъ человъческій и вьется, жестоковыйный, и правитъ поганый хороводъ надъ поникшей Россіей...

Вооружимъ наше сердце!

Парижъ. Авг. 1921 г.

## СОДЕРЖАН1Е

Человъкъ съ гераніемъ (посъсть)	стр	. 5
Въруня на кухнъ (Вмъсто пасхальнаго разсказа)		86
Случай на фронтъ		99
«Агитпункть»	,,	105
Смерть лошади	٠,	119
Домикъ подъ снѣгомъ	,,	140
Безымянное	,,	156
Морды	,,	165
Передрягинскія ночи (Отрывокъ изъ ру-		
кописи Никудимова)	,,	183
Вооружимъ наше сердце! (Предчувствія)	••	203

#### ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Лунная соната (повъсть, второе изданіе), Кн-ство «Сфинксъ». Москва, 1911 г.

Казнь (Очеркъ одной жизни), Кн-ство «Сфинксъ», Москва, 1911 г.

# изданія "возрожденія"

		Цъна во франкахъ
Ив. Шмелевъ.	Солнце мертвыхъ	. 15.—
•	Человъкъ изъ ресторана	. 15
*	Степное чудо	. 8.—
Евг. Чиривовъ	. Мой романъ	. 25.—
>	Дъвичьи слезы	. 15.—
>	Между небомъ и вемлей	. 15.—
В. Новиковъ.	Фациямъ	. 8.—
Ген. П. А. Пол	ювцовъ. Дни затменія	. 15
	ъ. Эмигрантскіе разсказы	
Бор. Суворинъ	. Фазанъ	. 15 —
	<b>і.</b> Дѣти улицы	
В. Гурко. Цар	ь и Царица	. 15
_ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Странное путешествіе	
А. Купринъ.	Храбрые быглецы	. 15.—
Вл. Ходасевич	ь. Собраніе стиховъ	. 15
	Магическіе разсказы	
И. Лукашъ. Д	Іворцовые гренадеры	. 15.—
В. Корчемный	. Человъкъ съ гераніемъ	. 15.—
	орнее солнце	
Пело В. Кове	•	10

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ И КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

## "ВОЗРОЖДЕНІЕ"

ÉDITIONS ET LIBRAIRIE

### LA RENAISSANCE

(Vozrojdenie)

2, Rue de Sèze, 2—Paris (IX) Tél. Richelieu 94-98, 94-99.